

Книга года по версии THE WASHINGTON POST

# Потрясение



18+

Роман

**ЛИДИЯ  
ЮКНАВИЧ**

«Самая странная и умопомрачительная книга.  
Отчасти историческое повествование, отчасти пророчество,  
отчасти лихорадочная мечта о будущем»,

– The Washington Post

Ли́дия Юкна́вич

# **Потрясение**

Издательство "Livebook/Гаятри"

2022

УДК 82-3  
ББК 84

**Юкнавич Л.**

Потрясение / Л. Юкнавич — Издательство "Livebook/Гаятри" ,  
2022

ISBN 978-5-907428-78-2

Лидия Юкнавич обладает даром рассказывать истории уязвимых людей, жизнь которых полна потрясений. Недалекое будущее, из-за глобального потепления уровень океана поднялся, и на уцелевшие участки суши стекаются беженцы. Лайсве потеряла мать и брата и пытается спасти тех, кем она еще дорожит. Она путешествует сквозь воду и время, общается с черепахой, собирает странные вещи. На ее пути встречаются строители статуи Свободы, узники подводной тюрьмы, ребенок Индиго, женщина с протезом вместо ноги, люди самых разных возрастов и национальностей. Сможет ли Лайсве, блуждая в зеркалящих друг друга мирах, изменить ход истории? Удастся ли вырваться из ранящей антиутопии и найти путь в будущее без границ и социальных иерархий? И есть ли дом для всех, кто понимает, как прекрасна общая мечта о свободе?

УДК 82-3  
ББК 84

ISBN 978-5-907428-78-2

© Юкнавич Л., 2022  
© Издательство "Livebook/  
Гаятри" , 2022

## Содержание

Монетка	7
Первый перекресток	8
Девочка из воды	12
Девочка из воды, запятая и черепаха	15
Астер и страх падения	23
Рассказ девочки из воды	32
Мамонты и аксолотли	36
Материнские воды	38
Первая этнографическая заметка	40
Яблоко	41
Второй перекресток	42
Фредерик и яблоко	45
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# Лидия Юкнавич

## Потрясение

*Книга эта для Майлза Минго, солнца жизни моей.*

*И для всех детей, которым следующим предстоит перейти порог;  
для всех тел и души, сирот и отщепенцев, иммигрантов и беженцев,  
людей всех гендеров, всех потерянных и обретенных прекрасных существ,  
ищущих берег, дом, сердце.*

*Промежуток между детством и недетством: пусть он станет  
для вас всем.*

*Как можно дольше оставайтесь в этом промежутке. Вы правы.  
Вы и есть новый мир.*

*«Я говорю, что пишу о времени и воде, а люди открывают  
глаза и уши и спрашивают: „О, а что вы имеете в виду?“ А я  
отвечаю: „В следующие сто лет изменится состав воды на планете;  
он уже меняется“. Тают ледники. Повышается уровень моря. Уровень  
кислотности океана, рН, достиг отметки, какой не было за пятьдесят  
миллионов лет. И все это за срок, равный одной человеческой жизни».*

**Андри Снайр Магнасон**

*«Она почувствовала... как жизнь, прежде состоявшая из  
маленьких разрозненных событий, которые человек проживал одно за  
другим, закручивается спиралью и сливается в одно целое, в волну,  
что увлекает за собой человека и выбрасывает его на берег одним  
сокрушительным ударом».*

**Вирджиния Вулф**

*«Исторический рассказ о прошлом не означает, что автор знает,  
как все „было на самом деле“: Он лишь пытается запечатлеть  
воспоминание, ярко полыхнувшее в момент угрозы».*

**Уолтер Бенджамин**

*«Должно быть, нам, бегущим от нынешнего порядка, надлежит  
укрыться в подземелье, чтобы нас раскопали не бесчеловечные  
экскаваторные машины взрослой логики и благородные мудрецы,  
которые утверждают, будто им известен путь, а мягкие любопытные  
пальчики наших детей, ласково роющие почву, щекокущие землю, пока та  
не рассмеется во весь голос».*

**Байо Акомолафе**

**Lidia Yuknavitch**  
**Thrust**

\* \* \*

*This edition published by arrangement with Massie & McQuilkin Literary Agents and Synopsis  
Literary Agency*

© Lidia Yuknavitch, 2022

© Юлия Змеева, перевод на русский язык, 2023

© Livebook Publishing, оформление, 2023

### **Пояснение к изданию романа на русском языке**

В июле 2022 года издательство «Лайвбук» подписало договор с Лидией Юкнавич на перевод ее романа «Потрясение». С момента приобретения прав на публикацию книги российское законодательство изменилось. Федеральный закон № 479-ФЗ о запрете ЛГБТ-пропаганды среди взрослых, вступивший в силу 05.12.2022, существенно ограничивает упоминание любых нетрадиционных отношений в книгах. Мы обеспокоены тем влиянием, которое он оказывает на нашу работу, однако не можем не принимать его во внимание.

Поэтому мы договорились с автором о публикации варианта книги, где скрыты строки, которые могут быть истолкованы как нарушение законодательства. Лидия Юкнавич согласилась с таким решением; в данном издании часть текста закрыта. При этом мы имеем возможность издать книгу. Мы благодарим автора и надеемся на понимание читателей.

*Команда издательства «Лайвбук»*

## Монетка



## Первый перекресток

В своих мечтах мы представляли ее нашей матерью.

Раз мы ее построили, думали мы, значит, ей и принадлежим. Мы собрали ее из кусков наших тел, из кусков наших собственных историй и историй, которые были до нас и будут после нас. Она приплыла на корабле по кускам.

Когда «Изера» наконец прибыла в порт, мы плакали. Матросы тоже плакали. Они думали, что бури, которые им пришлось вытерпеть на борту, потопят их в океане и груз потонет вместе с ними. Палуба корабля была размером с поле. Трюм на время пути накрыли громадными полотнищами черного брезента. Когда матросы их убрали, нашим глазам открылась зловещая темнота.

Меня попросили прыгнуть в этот мрак.

Я словно нырнул в океанские глубины.

Там, в трюме, глаза стали привыкать. В гигантских ящиках размером с дом лежали куски колосса: женщина, разрезанная на ломти, расфасованная по ящикам и отправленная кораблем за океан. Одну за другой мы отыскивали части ее тела.

Волосы.

Нос.

Венец.

Глаза.

Рот.

Пальцы. Ладонь.

Стопа.

Факел.

Вот что я имею в виду, когда говорю, что она приплыла на корабле по кускам.

Позже, обсуждая сборку, инженер сказал, что реконструировать статую поможет «эмбриональный маяк» – так они называли ее остов. И все же назначение многих элементов конструкции оставалось для нас загадкой; мы не могли понять, что с ними делать. Приходилось пускаться в ход воображение, приспособливать их на ходу.

В эти месяцы мы жили в городе и работали на острове. Мы были плотниками, кузнецами, кровельщиками, штукатурщиками и каменщиками. Мы были сварщиками, столярами, монтажниками труб. Мы мешали бетон, долбили землю, орудовали пилами и бурами. Среди нас были специалисты по листовому металлу и меди. Статуя попала нам в руки грудой меди весом тридцать одну тонну и грудой стали весом двадцать пять тонн. Ее кожа – внешний слой – состоял из трехсот медных листов.

Были среди нас и повара, уборщики, монахини и ночные сторожа. Санитарки, художники, дворники, бегуны, курьеры и воры. Были матери, отцы, бабушки и дедушки, сестры, братья и дети.

Днем не замолкал настойчивый стук молотков, визг напильников, лязг цепей, звон меди, принимающей нужную форму на деревянном каркасе. Так звучал нестройный оркестр нашего труда. Повсюду видны были взмывающие руки, напряженные плечи и бицепсы, сжатые челюсти и зубы. Так звучал оркестр наших тел. Ее тела, оживающего под нашими руками. *Наше тело* гордилось своим трудом – мы словно надеялись, что кто-нибудь когда-нибудь узнает наши имена и сохранит наши истории.

Когда в гавани разбушевались ветра, от деревянных лесов пришлось отказаться. Их заменили шкивами и веревками. Мы были аккуратны, старались не повредить мягкий металл. Мы

висели вокруг ее тела, кружились вокруг его частей – как воздушные гимнасты, птицы или мойщики окон; мы были привязаны к ней.

Иногда, всего на миг, история становится такой реальной, что и человек внутри нее ощущает себя реальным. И начинает казаться, будто все мы существовали на самом деле.

По ночам, когда работа прекращалась, некоторые из нас вставали вокруг ее головы и смотрели в ее огромные круглые глаза. В них читалась печаль. Или печаль с примесью ярости. Глаза ее были намного больше человеческой головы. Ее лицо не напоминало ни мужское, ни женское, а может, наоборот, сочетало в себе и мужские, и женские черты. Ее взгляд заключал в себе весь наш труд, но также нашу потерю, нашу любовь, наши жизни. Порой, находясь рядом с ней, мы думали или чувствовали *мама*, но вкладывали в это слово иной, новый смысл, дотоле неведомый.

Мы были невозможно возможным голосом тел.

Некоторые из нас родились здесь, другие были сыновьями и дочерьми матерей и отцов из далеких мест. Наши матери и отцы бежали от голода, нищеты, оккупации, войны и зверств. Они бежали оттуда, где оставаться было нельзя, и потому пересекли океаны и пустыни. Они рассказывали о преследованиях и бедности, а еще – о бескрайних холмах, закатах над песками и об экзотических цветах с названиями, хранившимися в наших сердцах. Покидая свой край, они испытывали грусть и облегчение, но прибыв сюда, чувствовали то же самое. Мы говорили о жестокости и красоте и вспоминали красоту родных мест, но крошечные ручки родившихся на новой земле младенцев тоже были красивы. Чтобы приехать сюда, мы разомкнули объятия со своей прежней родиной.

Среди нас были евреи, итальянцы, литовцы и поляки. Были ирландцы, китайцы и индейцы. Немцы, тринидадцы, шотландцы. Нас были сотни; мы прибывали в разное время и из разных мест, и сколько всего нас было, сосчитать невозможно.

Мы были океаном рабочей силы. В этом океане слышалась русская, французская, итальянская, английская и китайская речь, ирландский и идиш, суахили, лакотский, испанский и целый калейдоскоп диалектов. Наша речь сливалась в гимн.

Мы понимали, что труд пересек океаны. Кто-то разгружал части статуи после ее океанского путешествия; другие собрали ее по частям. Первые ощущали со вторыми странную связь. Мы ощущали связь друг с другом и с ней. Хотя, возможно, нам это казалось.

Из разговоров мы – если бы *мы* были единым целым – поняли, что французские рабочие хотели создать памятник в честь отмены рабства. Первая модель статуи, сделанная французским скульптором, держала в руке разорванную цепь. Мы видели чертежи. Модель. Знали, что символизировала цепь. Многие при мысли о цепях потирали кисти, щиколотки и шею. Но потом цепь переместили. Статуя больше не держала ее в руках, как не сковывали цепи и нас. Теперь цепь лежала у нее под ногами.

Уже тогда мы могли бы понять – почувствовать телом, – что рана, нанесенная войной, никогда не затянется и швы, которыми прошиты наши штаты, наложены криво. Что некоторых из нас по-прежнему не будут считать за людей и наши права будут попирааться ежедневно. Что дети на фабриках будут стирать руки в кровь. Что на нас не будут распространяться законы, хотя это именно наши тела построили дороги, протянувшиеся через всю страну. Но мы продолжали обмениваться историями, которые, невзирая на наш изнурительный труд, сулили нам безграничные возможности и множество открытых дорог.

Мы могли бы стать ее детьми, но уже тогда в истории стали появляться маленькие трещины, как и в материалах, из которых было сделано ее тело и наш труд. Вместо разорванной цепи ей в руки вложили скрижаль. Скрижаль символизировала власть закона. Разорванную цепь и кандалы сдвинули в сторону; их стало почти не видно за ее стопами. Но мы-то знали, что они там – они оказались там в результате нашего труда, – и у нас были на этот счет кое-какие мысли.

Нам было любопытно, какие истории породит новообетенная свобода, если цепей теперь не видно. Какие истории породит скрижаль и новое главенство закона. Нам было любопытно, что сама статуя думала по поводу изменений, внесенных в ее тело, и по поводу того, как переписали ее историю. Однако никто не интересовался нашим мнением и ее мнением тоже. Статуи не умели говорить. Иногда мы боялись, что, может, она вовсе нам не принадлежала, а мы не принадлежали ей, но никто не признавался в этом вслух, потому что всем надо было зарабатывать на хлеб.

Однажды, когда мы занимались отделкой головы и лица, положив их на землю, мимо прошла суфражистка, возвращавшаяся с марша протеста, и плюнула ей в лицо. Она воскликнула: «*Разве может быть женское лицо символом свободы, если женщины не могут голосовать?*» Ее всю трясло, а ее вопрос стекал по твердой медной щеке.

Я долго вспоминал эту струйку.

Когда ночью все ушли спать, я взял тряпицу и вытер медную щеку, роняя слезы. Суфражистка была права. Я понимал, что она имела в виду. Но я был среди тех, кто трудился над лицом этой статуи и старался вложить в ее черты торжественность и хрупкость идеи, которая могла бы привести к прекрасному будущему. Когда-нибудь – не в нашей жизни, но когда-нибудь – это лицо могло стать тем, чем мы еще пока не стали. Свобода, невидимая за кандалами, скрытыми под ее стопами, поднималась вверх по ее телу и руке до самого факела, неба и бесконечных сфер. Ее лицо являлось мне в моих странных снах. Мое лицо тоже было покрыто отметинами.

Наш труд обладал ритмом и формой, которые были выше наших различий и простирались далеко за их пределы. Наш труд был песнью, помогавшей ощутить себя частью целого, которое, возможно, было иллюзорным, а возможно, существовало на самом деле. Песнь помогала трудиться и помогала нашим телам не уставать и не сдаваться тяготам. Песнь *нашего тела* звенела в воздухе и отражалась от поверхности воды иначе, чем песнь одного человека; мы были частью всего и частью ничего.

В те дни впервые в моей несчастной жизни у меня появились люди, которых я любил. Эндора и Дэвид, Джон Джозеф – все мы явились из разных мест, и всех объединило тело статуи.

Может, из-за того, что мы строили ее тело, наши тела ощущались совсем иначе, и это сплотило наши сердца. Меня, чья кожа напоминала лоскутное одеяло, Эндору с ее бесплодным чревом и острым языком, Дэвида с мозаикой молочно-белых шрамов на спине и Джона Джозефа, умевшего говорить руками, будто стремясь выразить смысл, который слова передать не могли. Так его слова достигали ушей его предков.

А может, мы полюбили друг друга, потому что нас объединил труд. Так иногда бывает с рабочими, которые трудятся бок о бок. А может, все мы так искали что-то важное в этом новом месте, что вывернули друг перед другом свои души. Не знаю.

Я лишь знаю, что мы построили ее из кусочков своих тел, из наших собственных историй и историй, которые были до нас и будут после нас. Она носила нас в себе.

По крайней мере, так нам казалось.

Иногда по вечерам, закончив работу, Джон Джозеф, Эндора, Дэвид и я пили допоздна и говорили о том, как бы мы жили, если бы статуя, которую мы строили, на самом деле символизировала свободу. Если бы она по-прежнему держала разорванные цепи в левой руке и все бы их видели.

Как бы мы жили, если бы статуя рассказывала другую историю, ту, что и была задумана изначально, а не ту, что написали потом.

Тогда руки Джона Джозефа оживали, и он говорил: *ты мог бы стать президентом*. А я отвечал: *ты мог бы стать министром внутренних дел, а Эндора – вице-президентом!* Эндора же говорила: *с ума сошли? Это я должна быть президентом. Вы только все испортите*. А

Дэвид смотрел в огонь и улыбался. Из всех нас он меньше всего верил в фантазии. Он был сердцем нашей компании. Потом мы замолкали и выпивали. Смеялись до колик в животе. Все казалось таким логичным. За историей нашего труда и наших тел должен был следовать именно такой исход. Легенды, которые мы себе рассказывали, проистекали из легенд, создавших эту тяжеловесную статую. Но в итоге все сложилось совсем иначе.

Однажды вечером мы стояли на берегу и ждали посадки на паром, который должен был отвезти нас обратно в город после рабочего дня. Джон Джозеф наклонился и поднял что-то, лежавшее в грязи. Это оказалась черепашка. Он отдал ее мне. Я взглянул на нее со странным сожалением. Каким красивым был ее маленький крепкий панцирь. И каким уродливым морщинистое тельце внутри. Я поцеловал ее. Уж не знаю, почему. А потом бросил в Нарроуз<sup>1</sup>.

И тогда мы вчетвером увидели, как что-то барахтается в воде, и Эндора, затаив дыхание, прошептала: *«Святые небеса, там девочка»*.

---

<sup>1</sup> Пролив, отделяющий Бруклин от Статен-Айленда.

## Девочка из воды (2079)

– Она похожа на мужчину, – шепчет девочка с черными, как космос, волосами; ее губы шевелятся на уровне ограждения парома. Она шепотом перечисляет: *монетка со Свободой с распущенными волосами. Монетка со Свободой во фригийском колпаке. Монетка с драпированным бюстом. Монетка со Свободой в классическом стиле. Монетка с венцом. Монетка со Свободой с заплетенными волосами. Монетка с парящим орлом. Монетка с головой индейца. Первая монетка с Линкольном*<sup>2</sup>.

– Они просто хотели, чтобы она выглядела величаво, – говорит отец. – Как и положено архетипу. – Астер опускает взгляд и смотрит на красную куртку дочери, ее голубые брюки и белую шапочку из кроличьей шерсти, которую связала ее мать.

– А люди могут быть архетипами? – спрашивает Лайсве. Но налетает ветер, и Астер лишь улыбается в ответ и гладит ее по волосам.

Они все рисковали, выменивая личные вещи на билеты, чтобы увидеть тонущую статую. Паромы в Брук теперь ходят все реже и реже. Никто не знает, долго ли они еще будут ходить. Пережившие коллапс и Великий разлив океана передвигаются небольшими группками, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и не оказаться в неправильное время в неправильном месте. Беды накатывают волнами, внезапно и непредсказуемо. А паломничество к подводной статуе служит напоминанием об истории, которую они все когда-то знали.

Люди скучились у бортов, как единый человеческий организм, а паром тем временем приближается к месту, где когда-то был остров. Любопытство обретает форму рук и пальцев, вцепившихся в паромное ограждение и друг в друга. Незнакомые люди, нашедшие время, чтобы вместе удовлетворить свое любопытство, – такое встречается нечасто.

Девочка с черными, как космос, волосами, находит себе местечко между ног пассажиров.

– Не подходи близко к борту, Лайсве, – предупреждает Астер. Он знает, как сильно тянет его дочь к воде.

Многослойный рокот голосов возносится к небу, а паром приближается к месту назначения. Корму заполняют затылки детей, невысоких, как положено быть малышам; некоторые вытягивают пальцы и указывают на предмет, торчащий вдали из воды, и этим жестом словно называют его: смотрите, статуя!

Суетящиеся взрослые создают поток кинетической энергии. Мужчины застегивают шерстяные пальто и приосаниваются; женщины поправляют шарфы и шапочки, складывают руки на груди, и у всех – а может, не у всех, но кажется, будто у всех – по мере приближения к статуе немного меняется рисунок дыхания. Возможно, в них просыпается память поколений. А может, им просто хочется выпить пива, съесть пиццу и заняться сексом, или же они надеются, что их не поймут и не отправят домой за то, что осмелились взять выходной, расслабиться и посетить уходящее под воду чудо света.

Астер подхватывает на руки маленького сына; младенец плачет, наверняка скучает по груди матери, которой давно рядом нет. *Тихо, сынок*, шепчет Астер.

Рядом с Астером на корме стоит человек, который не понимает, что отец говорит сыну, но отвечает на младенческий плач на своем языке, говоря: *ах, малыш проголодался*; а женщина, что стоит рядом с этим человеком и не понимает ни его языка, ни языка Астера, улыбается и произносит на своем родном языке: *благослови Господь этот корабль* – а может, это переводится как «благослови эту семью» или «это плавание» – и складывает ладони в молитвенном

<sup>2</sup> Лайсве перечисляет дизайны монеток в один цент с изображением Свободы, отчеканенных в период с 1793 по 1909 годы.

жесте, который, возможно, для нее является обычным. И все улыбаются, ведь ребенок, плачущий по материнской груди, одинаково плачет на всех языках, а плавание на одном корабле сплачивает даже совсем чужих людей.

Внизу, незаметно ото всех, черноволосая девочка начинает карабкаться по перекладинам паромного ограждения и шепчет воде: *мама*. Вода зовет ее уже не в первый раз.

Порой история о том, кем мы можем стать, начинается прежде, чем мы успеваем понять, что произошло. И чтобы собрать все части этой истории, нужно нырнуть под воду.

Голос из громкоговорителя напоминает пассажирам, сколько времени отведено на посещение знаменитой тонущей статуи. Сколько осталось до пункта назначения; сколько паром будет кружить вокруг и когда повернет обратно; сколько останется на покупку еды и сувениров.

Все смеются и подставляют лицо ветру. Отец прижимает к себе сына, вдыхает запах морской воды и сладость младенческой макушки.

А потом пышногрудая женщина с волосами, укрытыми пурпурным шарфом, замечает падающую со второй палубы цветную вспышку; та проносится прямо у нее перед глазами. Женщина кричит. Это не птица; таких больших птиц не бывает. Страх холодит ей грудь. Люди вокруг слышат ее крик и смотрят на нее с тревогой – на каком языке она говорит? На итальянском? Или каком-то другом? Мужчина, стоящий рядом, пытается уловить в ее речи знакомые слова: в детстве он прожил в Германии два года, но это было так давно, много лет назад. Но женщина говорит на баскском. Никто ее не понимает. Один японец кладет ей руку на плечо, не зная, как еще помочь.

Толпа вглядывается в ее лицо, считывает эмоции и понимает, что надо смотреть на воду; тогда-то все и видят девочку, которая упала за борт и барахтается в волнах, постепенно скрываясь под кружевными брызгами, поднимаемыми паромом.

Все бросаются к ограждению, руки вцепляются в белые стальные перекладины, лица полны тревоги и ужаса. «Остановите корабль», – кричат они на разных языках. Кричат и бегают в панике мужчины. Голосят женщины. Дети снуют меж ног родителей. Девочка в воде уменьшается, пропадает из виду.

Астер все еще прижимает к груди сына, но его оттеснили назад, и он не видит, что происходит у ограждения; не понимает, почему кричат мужчины и голосят женщины. Он смотрит себе под ноги, ищет дочь.

– Нет, нет, нет, нет, нет, – повторяет он. – Где моя дочь? Лайсве! – кричит он, но всем кажется, что он в отчаянии выкрикивает что-то нечленораздельное.

А потом, быстрее, чем вы успели бы произнести «Америка», Астер передает своего маленького сына незнакомцу, перелезает через ограждение и ныряет вниз, как человек, прыгающий с крыши. Он приземляется в воду и сразу начинает тонуть – по крайней мере, так это выглядит со стороны. Астер не умеет плавать. *Человек за бортом*, кричит кто-то; в воду бросают спасательный круг.

Его маленький сын сидит на руках у незнакомца – малыш, затерявшийся в толпе.

*Не может быть*, причитает кто-то. Причитание, старое как мир.

Трубит гудок парома, моторы затихают, и судно качается на волнах. Подрагивают сувениры на полках сувенирной лавки. С палубы спускают две спасательные шлюпки; сидящие в них мужчины усиленно гребут, но куда не знают; куда-то назад, где якобы упала за борт девочка. Но в воде ее нет; ее уже не видно. Или все же мелькает среди волн красная курточка, голубые брюки, белая вязаная шапочка из кроличьей шерсти? Чья-то рука вытягивается и указывает на воду.

Сперва все видят лишь руку, венец и лицо громадной утонувшей статуи; то, что осталось от великанши, отливающей зеленоватым блеском в полуденном свете, от достопримечательности, частично погружившейся под воду, за которой они сюда и приплыли – к берегу, которого больше нет и вместо которого осталась только верхняя часть ее туловища.

Но потом они видят девочку. Ее тоненькие ручки. Тело плещущейся маленькой рыбки, дразнящей тех, кто смотрит на нее сверху.

Это невероятно, но кажется, девочка плывет.

Плывет навстречу затонувшим останкам материнского колосса.

Астер, не умеющий плавать отец, спасен; его затащили в шлюпку.

Его маленький сын сидит на руках у непорядочного человека. До того, как ему вручили младенца, драгоценную ношу, он считал это плавание последним подарком самому себе: взглянуть на тонущее чудо, а после покончить с собой, не в силах больше выносить муки голода и нищеты. Но мальчик на его руках... этот мальчик дорогого стоил.

Девочка из воды на глазах становится безымянной легендой. Люди привыкли не раскрывать свои настоящие имена.

Легенда гласит, что девочка прыгнула за борт и, прежде чем упасть, воспарила, как бес-телесная мысль. Вопреки всему и всем она поплыла навстречу тонущей статуе. Отец пытался ее спасти и не сумел, и пока барахтался в воде, потерял своего маленького сына. А девочка доплыла до статуи – ведь она доплыла? Или исчезла, а всем лишь показалось, что она доплыла?

## Девочка из воды, запятая и черепаха (2085)

Лайсве сжимала в одной руке монетку, а под мышкой несла большую голубую пластиковую букву «Л» размером примерно со свою голову. На каждом перекрестке она останавливалась и заглядывала за угол дома, проверяя, не поджидает ли там беда. В Бруке, по эту сторону дамбы, беды начинались внезапно. Но ради выгодной сделки стоило рискнуть.

Чтобы выгодная сделка состоялась, курьер должен быть готов пересечь временной барьер. Незаметно очутиться там, где состоится обмен. Использовать предметы и символы не так, как их использовали другие.

Лайсве шла мимо деревьев и шептала их названия. *Норвежский клен. Зеленый ясень. Декоративная груша. Платан кленолистный. Липа сердцевидная. Гледичия трехлопучковая.* Она перешагивала через корни, торчавшие из асфальта, который когда-то был тротуаром. Она никогда не наступала на трещины. Зброшенные многоквартирные и офисные здания подмигивали ей треснувшими стеклами и разевали свои пустые двери-рты. Иногда по ее шее пробегал холодок. Она знала, что нарушала правила, бродя по Бруку просто так. Знала, что Астер рассердится. Или испугается. Она заметила, что два этих чувства в отце часто сталкивались и вступали в контакт, как электрические полюса; когда это происходило, могло случиться замыкание.

Лайсве поняла, что наблюдать за чужими эмоциями намного проще, чем попытаться испытывать их самой. Если у нее и были чувства, ей еще только предстояло их обнаружить. Чувства были одним из пунктов, которые Астер внес в свой список вещей, над которыми надо «работать». Гнев и страх. Два чувства, которые привели их в Подполье.

Если память ее не подводила, они с Астером ушли в Подполье вскоре после того, как попытались присоединиться к группе людей, засевших в разрушенном многоквартирном здании и устроивших там что-то типа коммуны. У большинства из них были дети разных возрастов, размеров и темпераментов.

Родители переживали, что изоляция, необходимость прятаться и отсутствие привычных благ отрицательно повлияют на психику их отпрысков, поэтому пытались держаться вместе – возможно, и ради безопасности тоже, чтобы делиться ресурсами. Но они допустили одну большую ошибку: они хотели, чтобы дети общались. Родители почему-то боялись, что без образования и социальных контактов дети будут обделены.

Лайсве этого не понимала.

Они собирали детей и пытались заставить их *играть*. Замысел заключался в том, чтобы дети научили друг друга всему, что знали, «просто побыли детьми» и поиграли. Для этого годилось любое открытое место – поле, площадка, не заросшая густыми сорняками и кустарником. Но лучше всего подходили огороженные клетками дворы у многоквартирных домов. Один такой двор находился недалеко от места, где прежде протекал пролив Нарроуз, отделявший Бруклин от Статен-Айленда; родители утешались тем, что с реки дул напитанный влагой свежий ветерок, а детям полезно дышать свежим воздухом. Но эксперимент не удался, по крайней мере для Лайсве. Или для Астера. Если бы родители задумались о том, что они делают, размышляла Лайсве, они бы поняли, что у детей больше не осталось навыков человеческого общения. Они или утратили остатки тех способностей, которыми обладали, или уже родились без них. У нынешних детей сохранился лишь инстинкт выживания – навык, свойственный животным.

Лайсве подумала об обезьянах бонобо. Карликовых шимпанзе, ближайших родственниках *Homo sapiens*. Бонобо и шимпанзе принадлежали к одному роду, но из-за матриархальной

общественной структуры первые отличались повышенным альтруизмом, чуткостью, состраданием и чувствительностью. В обществах бонобо степень влиятельности самца определялась статусом матери.

В тот день в разгар детской игры Астер услышал крик. Он растолкал толпу детей, сбившихся в угол, и увидел Лайсве: та стояла одна, подняв руку вверх. Рука была в крови. У ее ног лежал ребенок, едва научившийся ходить; он не шевелился. *Она убила малыша, убила малыша*, повторяли дети, но когда он спросил «как? Как?» – слова раздирали его горло, выбираваясь наружу – никто не смог ответить. Никто не видел, как это случилось. Все видели лишь ее вытянутую руку и окровавленную ладонь.

Ребенок оказался сиротой, и он не умер, но его губы и шея были залиты кровью.

Никому, включая Астера, не пришлось в голову спросить Лайсве, что произошло. И никто не заметил, что рука ее была сжата в кулак, и никто не попытался разжать его; а если бы они это сделали, то нашли бы предмет, который Лайсве сжимала в ладони. Малыш нашел где-то этот предмет, а двое других мальчишек велели ему засунуть его в рот. Это был ржавый гвоздь; малыш попытался его проглотить, а Лайсве вытащила гвоздь у него из горла и спасла малыша от гибели.

Никто не заметил – вероятно, из-за того, что ребенок оказался при смерти (*о Боже, она чуть не убила малыша!*), – что Лайсве схватила одного из мальчишек, что пытался заставить малыша съесть гвоздь, и устроила самосуд. Она прогнала его со двора и столкнула в воду. Его отсутствие заметили лишь через несколько часов, когда его уже отнесло довольно далеко и его внутренние органы начали отказывать; он плыл, схватившись за живот, терзаемый спазмами, и несколько часов исходил поносом и рвотой, пока не пожелтел и не умер от отказа печени, как рыба, всплывшая кверху брюхом.

После этого Лайсве пришлось ото всех прятать.

В их ветхом многоквартирном доме время остановилось. Лайсве знала, что Астер хотел ее защитить и оградить от вреда, но начинала понимать, как застой убивает человека. Эволюция была тому подтверждением. Занимавший ее вопрос представлял собой своего рода сделку: что опаснее – рискнуть и выйти в мир, зная, что на беженцев теперь на каждом шагу устраивают облавы – вооруженные мужчины в фургонах кружат по улицам, как смертоносные касатки, хватают прохожих и увозят, а куда – неизвестно; или атрофироваться, как камень, обрастающий мхом, застряв в заброшенной квартире с умирающим от горя отцом? Никто еще не стал кем-то, прозябая в стенах Платоновой пещеры и созерцая тени. Люди, которые так жили, могли вовсе забыть, что у них есть тело. Жизнь означала движение навстречу смерти, а смерти Лайсве не боялась. История жизни и смерти была ей хорошо знакома.

Она нашла монетку, которую сейчас сжимала в ладони, в разбухшей реке, чьи воды омывали Брук. Буква «Л» лежала в переулке между брошенными покосившимися домами, среди щебня и зарослей цепких сорняков. Ветшающий город был прекрасен. В тот день она не боялась; в ней жили лишь страхи, которые внушил ей отец. Для Лайсве предметы были всем; предметы перемещались во времени вперед и назад. Иногда перемещались и люди: они оказывались не в том времени, и их требовалось перенести в другое. Когда это происходило, Лайсве шла в Омбард.

Чем ближе она подходила к Омбарду, тем громче билось ее сердце. Она знала, что должна прятаться, что ей следует сидеть дома, пока отец на работе – ходит по железным балкам на высоте птичьего полета, строя Стену, сдерживающую затопление города. Но она не могла сидеть тихо, как он велел. Ее манила красота заброшенных тоннелей метро, заваленных обломками и поросших колючим кустарником и плющом, не нуждавшимся в солнечном свете; шорох шныряющих под ногами кротов, крыс и мышей; пустующая библиотека, полная книг, распа-

дающихся на отдельные страницы; разбитые окна, дырявые крыши. Она ощущала вибрации города, певшего ей свою песнь: *приди ко мне*.

Бывшая публичная библиотека превратилась в странный храм слов и звуков, заполненный птицами, мелкими грызунами и ветшающими книгами. В дождь или снег она переносила книги в другие комнаты или на другие этажи, чтобы те не промокли. Иногда в библиотеке ей встречались другие люди, но это случалось редко. Если она видела людей, то строго выполняла отцовский наказ: называлась Лизой, потом пряталась. Настоящие имена лучше было не раскрывать.

У нее зачесалась подмышка с той стороны, где она несла букву. У входа в Омбард она ненадолго закрыла глаза и успокоила дыхание, как учил Астер: вдох и выдох на четыре счета.

В лавке сидел дряхлый-предряхлый старик, запятой согнувшийся над длинным стеклянным прилавком. Его глаза так глубоко утопали в складках морщин, что лицо напоминало фотографию рельефа с высоты птичьего полета – Лайсве любила разглядывать такие снимки. Руки были еще живописнее – грибница вен просвечивала сквозь кожу с торчащими костяшками пальцев. Она подозревала, что он слеп, но он никогда в этом не признавался.

Омбард нравился ей тем, что самые важные вещи всегда были выставлены в витрине, но внутри лавки время становилось осязаемым, будто тоже было предметом, выставленным на продажу. Все вещи здесь принадлежали к разным эпохам. В Бруке не осталось покупателей – по крайней мере она о таких не знала – разве что в «подпольной экономике». От прежних магазинов и лавок остались одни обломки. Отслаивающаяся краска на стенах Омбарда была ядовито-зеленой. Наружная витрина затуманилась от грязи и времени. Она не знала, как лавке удавалось держаться на плаву.

Сегодня ее радостное оживление окрашивало все вокруг в оранжевый и желтый. Успокоив дыхание, Лайсве открыла входную дверь и вошла.

– Лиза, – сказала дряхлая запятая, – добро пожаловать.

Она аккуратно положила букву «Л» на стеклянный прилавок.

Старик взглянул на нее, затем на голубую пластиковую букву. Щеки Лайсве вспыхнули. Она почесала под мышкой. Она сразу поняла, что буква представляет ценность.

Через некоторое время – Лайсве успела залюбоваться пылинками, плясавшими в освещенном пространстве между ней и стариком, – он заговорил:

– Я давно искал эту вещь, – сказал он.

А потом сделал кое-что странное. Поклонился, будто в знак благодарности. Раньше он никогда так не делал.

– Она принадлежала вам? – спросила Лайсве и почувствовала, как жилка на шее забилась быстрее.

– Можно и так сказать, – ответил он. – Эта буква – часть слова, а слово было для меня очень важным. Слово меня кормило. Это было еще до пандемии. До коллапса. До разлива. До облав.

Он снова поклонился.

– Пойдем со мной, – сказал он, и они немного прогулялись вдоль здания. Он указал на вывеску: большие голубые буквы складывались в слово «Омбард». – Теперь понимаешь?

Она не понимала, но все равно кивнула и улыбнулась. Они вернулись в лавку. Она поняла, что произошел важный обмен. Странные эти взрослые. Осмелев, она выложила на стеклянный прилавок монетку.

Старик достал лупу и изучил монетку.

– Видишь зеленый оттенок?

– Да, – ответила она.

Их лбы почти соприкасались.

– Это результат окисления меди. При контакте с воздухом медь со временем зеленеет.

– Как утонувшая статуя, – заметила Лайсве. Статуя была ее любимым крупным предметом, скрытым под водой. Она говорила ему об этом десять тысяч раз. – На производство утонувшей статуи ушло тридцать тонн меди, – продолжала она. – Из этого количества можно отчеканить более четырехсот тридцати миллионов одноцентовых монеток.

– Да, ты уже рассказывала, – старик-запятая ненавязчиво перенаправил разговор в другое русло. – На твоей монетке изображена Свобода с распущенными волосами. Это очень редкая монета в один цент. Когда ее только отчеканили, она никому не понравилась, можешь себе представить? Людям казалось, что у Свободы вид одержимой. А люди боятся одержимости. Боятся тех, кто стоит на краю обрыва.

Лайсве взглянула на монетку: распущенные волосы, широко раскрытые глаза.

– *Обрыв* и *выбор* состоят из одних букв, – заметила она. – Людям надо чаще читать задом наперед. И научиться понимать слова. Предметы. Время. Люди часто не видят дальше своего носа.

– Ты права, – ответил он и взглянул словно сквозь нее, куда-то за спину. – Когда монеты вышли из обращения, люди забыли, каково это – сжимать их в ладони. – Он взял монетку, подержал ее в руке, внимательно рассмотрел и, как показалось Лайсве, даже немного скосил глаза к переносице. – Когда начались катаклизмы – пандемия, пожары, наводнения, облавы – люди перестали покупать вещи. И это особое ощущение – прикосновение металла к ладони, звон, который ни с чем не спутаешь – не то бряцанье, не то лязг – постепенно забылось. И в высоких башнях, где заседало правительство, и в кассах банков, и в скобяных лавках, и в кондитерских, и в ресторанах – его забыли повсюду.

Некоторое время они сидели в тишине в знак почтения к забытому. Она представила вкус меди на языке, вспомнила историю старика – ту ее часть, что он поведал. Его предки происходили из провинции Гуандун; так она называлась до того, как ушла под воду. Прежде чем стать стариком-запятой, он был кем-то вроде историка; Лайсве догадалась об этом по его намекам.

Лайсве, наверно, тоже раньше была кем-то другим. По крайней мере, до рождения, когда зародыш еще выбирает, кем стать – свиньей, дельфином или человеком.

– За букву я дам тебе яблоко, – сказал он, откинувшись назад и ожидая, что она ответит. – А за монетку...

Лайсве аккуратно взяла монетку с его ладони.

– Монетка должна остаться у меня. Я должна ее носить с собой. А еще – мне пора. Пока все спокойно, надо бежать.

Старик прищурился.

– Ясно, – ответил он, потянулся за стул, достал яблоко и отдал ей.

Она повертела его на свету, нашла бледное золотистое пятнышко и вонзилась в него зубами. Звук укуса повис в тишине.

– Тогда до свидания, – сказала она.

Выходя из лавки, она смотрела на монетку. Монетка была сложным предметом, артефактом. Не в первый раз в ее голове промелькнуло слово *вор*. Это слово использовал отец, но она бы не стала так называть свое занятие. Что бы она ни держала в руках, отец всегда доставал это из ее ладони и внимательно осматривал, опасаясь, что она навлечет на них беду.

Она называла себя другим словом: *курьер*. Тысячу раз ей приходилось убеждать отца, что она не крадет вещи из Омбарда. Астер считал, что потеря матери и брата нанесли Лайсве душевную травму, ставшую причиной ее необъяснимого проблемного поведения. Она крадет предметы, составляла списки, заикливалась на вещах, которые казались бессмысленными. А Лайсве была убеждена, что припадки Астера – его «короткие замыкания» – объяснялись теми же причинами; он просто еще этого не понял.

Лайсве считала, что ношение предметов делало ее участницей так называемой «подпольной экономики», о которой она читала в разрушенной библиотеке. Именно из книг она узнала, что люди тоже иногда переносятся вперед и назад во времени. И что некоторые иногда попадают в неправильное время; таких людей нужно *перенести в нужное время*.

Она шла домой из Омбарда, ощущая если не счастье и удовлетворение, то по крайней мере завершенность, как после дописанной фразы или решенного уравнения. Она шагала зигзагами по переулкам между домов, и каждое строение было пустой оболочкой, хранившей истории, людей и их тайны. Иногда она закрывала глаза, скользила ладонью по стене и шла туда, куда вела ее рука. Это была забавная игра – ощупывать городские стены с закрытыми глазами и следовать старыми тропами по чужим следам. Запахи и звуки, холод и тепло ощущались острее; яркие цвета заполняли ее воображение.

Но в конце концов она вспоминала, как боялся за нее отец, открывала глаза и ускоряла свой зигзагообразный шаг. Услышав «тат-тат-тат» – это мог быть звук работающих механизмов или беды – она останавливалась, разворачивалась и шла в другую сторону, другой дорогой, уходя прочь от звука. Чтобы отвлечься, перечисляла в уме знакомые названия червей: компостных, дождевых, корневых. Шептала еле слышно: *эйсеня фетида – навозный червь. Дендробена венета – ночной вытолзок. Люмбрикус рубеллус – красноватый дождевик. Эйсения андреи – красный калифорнийский червь. Люмбрикус террестрис – обыкновенный дождевой червь, любимец Дарвина*.

Послышалась череда хлопков – еще далеко, подумала она. Остановилась и прошептала, обращаясь к земле под ногами и стенам домов, уходящим ввысь по обе стороны переулка:

– По вечерам Дарвин выпускал червей на бильярдный стол. Кричал на них, хлопал рядом с ними в ладоши, играл им на пианино и фаготе. Свистел в свисток. В итоге он решил, что у них нет ушей. Но когда он взял единственную ноту «до», на миг воцарилась тишина. И черви слышали тишину.

Она зашагала дальше в сторону дома с закрытыми глазами, легонько касаясь рукой стены и шепча себе под нос: *дидимогастер сильватикус – чрезвычайно редкий вид. Мегасколидес австралис – вероятно, вымер*.

Шаг вперед, еще один и еще; рука скользила по шероховатостям и выемкам кирпича, а ум рождал закономерности. Ладонь нащупала угол здания, нога – каменистую почву, сменившую тротуар. Она дошла до конца переулка, ведущего к улице, на которой стоял их дом. Мысленно она уже была у цели. *Возвращайся, пока не пришла беда*.

Она заглянула за угол. С одной стороны, примерно в шести кварталах, увидела звуки, черные и серые фигуры, увидела то, от чего надо было спасаться. У звуков было название: *облава*. Беда, о которой предупреждал отец полным ужаса голосом, бушевала близко. Она видела вооруженных людей в форме, выстроившиеся в ряд черные фургоны, испуганных и возмущенных людей, выходящих из домов, сложив руки на затылке. Там были мужчины, женщины, дети. Их загоняли в черные фургоны. Взвизгивали шины, и фургоны уносились Бог знает куда. Она ощутила отцовский страх, давивший ей на плечи.

Она наблюдала до тех пор, пока все звуки не затихли. Потом посмотрела в другую сторону. Там не было никого и ничего, лишь чистый, плотный, спокойный и беззвучный воздух. Она шагнула вперед. Но подол ее красной юбки затрепетал и хлестнул по ногам; жаркая воздушная волна ударила в лицо и пронеслась по телу, и она подскочила от последовавшего звука: словно сотня кроликов, одновременно сброшенных с большой высоты, мягко плюхнувшись об асфальт, расшибились насмерть.

Совсем близко – так близко, что Лайсве могла бы пострадать, – приземлилось тело женщины в платье цвета индиго с цветочным узором; голова ее разбилась в кровь, черты лица перекошились, напоминая головоломку из случайных форм, руки и ноги выгнулись под неестественными углами, а тело обмякло, как у сломанной куклы. У Лайсве потемнело в глазах. Она

присела на корточки и закрыла глаза, пока голова не перестала кружиться и дыхание не восстановилось. Она взглянула на женщину. Та не дышала. Не издавала ни звука. Лайсве посмотрела вверх, в небо, на крыши зданий. Ничего.

Она ждала, пока что-то почувствует. Страх. Гнев. Сожаление. Но внутри была лишь пустота. Глядя на мертвую женщину на тротуаре, она видела лишь цветные пятна – красные, синие, серые, тошнотворно-желтые. Пятна расплывались перед глазами. Они складывались в слово *смерть*. Запахло мочой и калом. Струйка крови текла по тротуару.

Тогда Лайсве сделала то, что получалось у нее лучше всего: стала изучать то, что видит. Глазами, как пальцами, ощупала рельеф тела, остановившись на круглом, как камень, плече; взгляделась в складки на платье цвета индиго, примявшемся под весом женщины. Рассмотрела ее бедра и ноги во всем их человеческом несовершенстве и почувствовала, как лежащее перед ней тело постепенно выпадает из реальности и обретает качество жидкости, становясь воздухом, молекулами и водой, и тела их обеих как будто прекращают свое отдельное существование и сливаются воедино. Затем, направив концентрацию на одну руку, она вслух пересчитала пальцы на правой руке женщины и на сломанной левой, что была к ней ближе. В чаше левой ладони, обращенной к небу, лежал маленький предмет. При виде его воображение Лайсве вспыхнуло.

На миг все вокруг замерло, кроме ее дыхания. Глаза устремились на предмет. Это был медальон на цепочке – золотой, грязный, старый, а может, просто поцарапанный и выцветший от времени. Она не могла его не взять. Не могла не вырвать из сомкнутой ладони. Не могла не открыть.

Внутри медальона под стеклом лежал локон тонких младенческих волос.

Она смотрела на предмет и локон, и вдруг краем глаза заметила вспышку цвета и движения у самой земли. К ней приближалось что-то размером с ладонь. Черепаха. Пресноводная коробчатая черепаха. Она подошла к руке мертвой женщины и остановилась.

– Девочка, ты сможешь мне найти Нарроуз?

Лайсве уставилась на черепаху. Та смотрела на нее и тянула шею.

– Вопрос не риторический, – ворчливо добавила черепаха. – Что это? – Она повернула свою маленькую головку к мертвой женщине на тротуаре. *Кажется, она нахмурилась*, подумала Лайсве. *А черепахи умеют хмуриться?*

– Женщина упала. Совсем рядом со мной, – объяснила Лайсве. – Это она. Она умерла. Чуть меня не раздавила.

Черепаха заговорила громче.

– Что ж, ко мне это не имеет отношения. А к тебе?

Лайсве растерялась, не зная, что ответить. Случившееся по-прежнему не вызвало у нее эмоций, лишь легкое любопытство. Узор на платье женщины был таким ярким, что не мог не пробудить любопытство. Как и узор на спине черепахи. Но цветочный узор платья просто завораживал.

– Послушай, девочка, – сказала черепаха, – мне нужна помощь. Я повредила лапу. Ты можешь отнести меня в черепаший пруд Ботанического сада на берегу старого пролива Нарроуз?

Лайсве ответила, по-прежнему не отрывая глаз от платья мертвой женщины:

– Сад давно заброшен, уже много лет. Он живет в другом времени. Я об этом читала.

– Да-да, я знаю. Но там есть один заросший участок, где мы все еще можем жить в относительно безопасной обстановке от хищников. Все, что существовало прежде, теперь стало чем-то другим. И мне нужен не сам сад, а берег старого пролива. Если ты, конечно, сможешь мне помочь. Один мой родич нуждается в помощи куда сильнее меня. А меня просто надо туда отнести. К тому же... беда уже близко.

Взгляд Лайсве переместился на узор на полукруглом панцире черепахи – желтые пятна на зеленовато-коричневом фоне. Она невольно восхитилась красотой ее панциря, яркими оранжево-желтыми глазами, даже кожей – морщинистым подбородком и шеей цвета речной тины и крупными складками в нижней части шеи, желтыми крапчатыми лапками и ноготками. Хотя нет, то были не ноготки, а фаланги, но ей они напоминали красивые длинные ногти. Идеальная конструкция ее тела – нагрудник, соединенный с щитком – вызывала у нее восторг. На миг она вообразила, что и у нее есть панцирь, и тут же почувствовала себя более защищенной; тревога отступила. Почему она родилась человеком?

Раздумывать долго не пришлось. Одной рукой она выхватила цепочку медальона из сомкнутой ладони мертвой женщины; другой подобрала черепаху.

– Я отнесу тебя к старому проливу. – Она резво зашагала по улице к реке мимо Омбарда, и сердце ее забило так часто, что казалось, оно бьется в горле. – Но тебе придется показать мне точное место.

– Точное место? – головка черепахи покачивалась на шее от быстрого шага. – О чем ты говоришь?

Девочка побежала.

Они вышли на узкий выступ между берегом и старым проливом.

Черепаха была благодарна, хоть и относилась к Лайсве с легким подозрением. Та казалась странной. Черепахе хотелось, чтобы девочка скорее ее отпустила или даже просто бросила в пролив. Она чувала место, где должна была оказаться. Страшно хотелось дождевых червей, и черепаха пожалела, что не съела парочку, когда шла по грязи.

У края причала – или того, что от него осталось, – девочка остановилась. Впереди раскинулся пролив.

Лайсве поднесла черепаху к лицу и посмотрела ей в глаза.

– Я читала о вас, коробчатых черепахах, – сказала она. – В летописи окаменелостей вы появились внезапно и практически в современном виде. – Она перевернула черепаху, чтобы взглянуть на ее брюшко, а затем снова перевернула спинкой вверх. – Через минуту, – произнесла она, – когда мы окажемся у воды, мне нужны будут очень точные указания. Уговор есть уговор. Мне нужно переправить монетку.

Что в голове у этой девчонки?

– Что значит *переправить*?

– Слышала про почтовых голубей? Подвид горного голубя, наделенный магниторецепцией. – Она почесала в затылке. Когда она сама стала курьером? Возможно, в тот момент, когда ее мать застрелили и на ее глазах бросили в море, и последнее, что она запомнила, – ее вытянутая рука, погружающаяся под воду. Или в день, когда ее брат растворился в толпе на пароме, не оставив после себя ничего, кроме имени; мальчик, навек потерянный в толпе. Дыры в сердце нужно чем-то затыкать. Ее пальцы подергивались.

– Как тебя зовут? – спросила она.

Черепаха вздохнула.

– Царство: животные. Тип: хордовые. Класс: пресмыкающиеся...

Но девочка прервала ее:

– Отряд: черепахи, подотряд: скрытошейные, семейство: пресноводные, вид: коробчатая черепаха. Но я не об этом спрашивала. Имя у тебя есть?

Черепаха внимательно на нее посмотрела. Повертела головой из стороны в сторону. Думала соврать. Кто она такая, что требует назвать ее имя? Но что-то в глазах девочки побудило ее – его, ведь черепаха была мужского пола, – сказать правду.

– Бертран, – ответил он. – А тебя? – спросил он из вежливости, хотя ему это было не интересно. Впрочем, у этой девочки, похоже, голова на плечах имелась, хоть и маленькая и странная голова. Большинство людей казались черепахе очень глупыми, а умные страдали от

меланхолии, которая была сродни иррациональной зависимости от воспоминаний. Чисто человеческий недуг. Людей отличало нездоровое пристрастие ко всему мертвому.

– Меня зовут Лайсве, – ответила девочка. – Но ты, пожалуйста, папе не рассказывай о том, что сегодня случилось. Вообще-то, я должна целыми днями сидеть взаперти; облавы уже на нашей улице и подбираются все ближе.

Бертран кивнул.

– Вернемся к делу, – сказал он, намекая на их незаконченное дельце.

Сжав в одной руке медальон мертвой женщины, а в другой – черепаху, Лайсве прыгнула в воду.

## Астер и страх падения

В конце трудового дня, спустя секунды после гудка, Астер садился на железные балки, перекрещивал ноги, закрывал глаза и вытягивал руки в стороны. На такой высоте облака и клонящееся к закату солнце казались не далекими небесными телами, а близкими, родными, и он чувствовал, как они качают его в своих объятиях. Налетавший ветерок находил его, а бескрайнее небо необъяснимо манило, призывало воспарить, разрубив все узы с землей, прежде чем он вернется туда, в реальность, к дочери.

Как это было бы легко. Прыгнуть.

Эта мысль никогда его не покидала.

Жаль, что он больше не мог поговорить с Джозефом. Он ужасно по нему скучал, скучал до дрожи в ногах. Будь Джозеф там, они бы поговорили, прежде чем спуститься на землю.

– Черт, да мне все равно, откуда ты родом, – сказал Джозеф на второй день их знакомства. Астер услышал о Джозефе Теканатокене от парня из Онтарио, который давным-давно участвовал в геологической экспедиции в Якутию. Джозеф из Брука мог найти работу любому, кому хватит безрассудства ходить по железным балкам на высоте птичьего полета и работать в поднебесье.

С тех пор каждую ночь Астеру снился человек, шагающий по балкам над облаками. Из снов родилась мечта. Она манила его, как бесконтрольная зависимость, и, как все зависимости и порождения фантазий, разрушила его жизнь.

Когда Астер прибыл в Брук, жить ему было негде; с собой он привез лишь горе глубиной с океан, дочь с пустым после пережитой травмы лицом и младенца, который все время плакал. Тогда Джозеф Теканатокен разрешил им спать на диване в своем трейлере. Трейлер стоял на клочке грязной земли далеко от воды. Они спали втроем, как семья странных зверей, чьи тела переплелись и срослись. Каждый день Джозеф кормил их яичницей и сыром и приносил молоко. Так продолжалось год.

Однажды вырубилось электричество, и в трейлере стало холодно. Дети не могли заснуть. Не говоря ни слова, Джозеф принес толстое шерстяное одеяло и накрыл их, как шатром, а потом согрел в своих огромных ласковых объятиях. (Впрочем, это не могло быть правдой. Не мог же Джозеф обнять руками всех троих? Но Астер помнил, что все было именно так.) Стало тепло. Дети уснули.

Говорить с Джозефом было приятно, а в то время Астеру почти ничего не казалось приятным. Он пытался рассказать, кто он, откуда приехал, но каждый раз история обрастала притоками и утекала в другое русло. Лишь одну историю он рассказывал раз за разом относительно одинаково: крошечный фрагмент воспоминания о женщине, которая, вероятно, была его матерью. В его памяти женщина сидела внутри длинного здания за длинным столом. Когда она говорила, все в комнате слушали. Закрывая глаза, он видел ее серебристые волосы. Была ли она его матерью? Или чьей-то матерью? Или просто фантазией, которую создало его воображение, а он решил, что это его мать?

– Ее душа, вероятно, перешла в зверя или дерево, – сказал Джозеф, и они долго смотрели друг на друга, а Астер пытался понять, шутит Джозеф или нет.

Потом Джозеф рассмеялся – смех его напоминал журчание мелкого гравия под автомобильными шинами – и Астеру захотелось, чтобы слова Джозефа оказались правдой. Кем бы ни была его мать, ее убили, как животное. Возможно, женщина из его воспоминаний была одной из деревенских женщин, которые его воспитали, а может, просто женщиной, выступавшей на бессмысленном деревенском собрании. Может, он видел ее в кино или читал о ней в книге и ему показалось, что она могла бы стать его матерью. А может, она была призраком. И душа ее на самом деле жила в дереве.

Единственной женщиной в его настоящем была его дочь Лайсве, а единственной его задачей на Земле – проследить, чтобы Лайсве дожила до зрелости, и помогать ей, пока она не найдет свой путь – а уж каким будет этот путь, одному Богу известно. Он подозревал, что этот путь ей придется прокладывать *вплавь*. Сам Астер плавать так и не научился. Когда Астер начал работать с Джозефом на строительстве дамбы в Бруке, он часами слушал его рассказы о былом. Джозеф поведал ему о клане людей, чьим предназначением было рассказывать истории; эти истории являлись для них смыслом жизни.

– С двадцатых годов несколько поколений могавков, приехавших из Канады, возводили каркасы зданий в этом городе. Служба иммиграции пыталась выдворить нас как нелегалов, как чужаков – но не глупость ли это? Чужаками были они, не мы. Потом суд постановил, что могавков нельзя арестовывать и депортировать; мы – представители нации, живущей на территории двух государств, и по договору имеем право свободно перемещаться по территории проживания племен, пересекая воображаемую границу, начертанную чужаками, которая, по их мнению, должна была нас разделить. Нам дана эта особая свобода. Впрочем, они до сих пор пытаются помешать нам спокойно ездить туда и обратно. – Джозеф снова засмеялся своим журчащим смехом, рождавшимся глубоко в груди; этот звук начинал звучать словно за много миль и постепенно усиливался. – Благодаря свободе передвижения мы вознеслись в небеса над большим городом. А это, скажу тебе, многого стоит. Мы всегда были лучшими высотниками. Слышал про Эмпайр-Стейт-Билдинг?

Астер слышит в голове голос Лайсве – та шепотом зачитывает один из своих списков, одну из своих бесконечных декламаций: *трансконтинентальная железная дорога. Канадская тихоокеанская железная дорога. Мост Хелл-Гейт. Мост Джорджа Вашингтона. Гостиница «Уолдорф-Астория». Эмпайр-Стейт-Билдинг. Штаб-квартира Организации Объединенных Наций; Линкольн-центр. Башни-близнецы. Башня Свободы. Морская дамба.*

Джозеф продолжал:

– А башни-близнецы? Их тоже построили могавки. А когда они рухнули, кто помогал, кто поддерживал? Тоже мы. Никто не знал башни лучше нас. Мы помогали выносить тела погибших. Мы построили башню Свободы.

Бывало, когда Джозеф заканчивал рассказывать, Астер говорил какую-нибудь глупость, например, «не знаю, долго ли еще это выдержу», а Джозеф спрашивал:

– Что *это*?

– Жизнь, – отвечал Астер, – долго ли выдержу жизнь.

А Джозеф отвечал:

– Ну что за глупости. Что это за разговоры? У тебя же дочь, дружище.

Иногда Астер продолжал свой путаный рассказ – «я потерял корни», говорил он, – но когда пытался объяснить, что имеет в виду, путался, и Джозеф на некоторое время умолкал. Вечерело. Руки Астера тяжелели. А потом Джозеф рассказывал, что могавки всегда принимали в племя чужаков, и причин тому могло быть много. Война. Родственные связи. Любовь. Ненависть. Принимали осиротевших детей, потерявших кров, беженцев. Некоторые причины были ужасны, другие – прекрасны. Но всех, кого приняли, считали членами клана и племени.

– Кто-то становится могавком по крови, кто-то – в результате миграции или по воле сердца, – объяснял Джозеф, и Астеру переставало казаться, что тело его вот-вот сойдет с орбиты и унесется в открытый космос. – Я почти не знал отца. То есть знал, но недолго – до двадцати лет. Потом он умер. И что? – Джозеф похлопывал Астера по плечу, закуривал, держа сигарету в одной руке, а руль в другой, и медленно затягивался и выпускал дым. – Но говорят, мой дед Джон Джозеф был лучшим высотником из когда-либо трудившихся в этом городе. Он строил статую Свободы; это он делал медную облицовку. Мне есть чем гордиться. Мало кто может таким похвастаться. Так что, Астер, может, у тебя это в крови, может, и нет, но твое

тело само знает, как работать на высоте. Никогда не встречал человека, у которого была бы такая твердая нога.

Твердая нога. Муж, который не смог спасти жену, отец, потерявший маленького сына. Отец, который не знал, сможет ли обеспечить выживание собственной дочери.

Однажды Астер признался Джозефу, что хочет прыгнуть. Джозефу, который принял его к себе, когда они только приехали. Джозефу, который заботился о нем, его маленьком сыне и дочери, как отец – по крайней мере, именно так Астер представлял себе отцовскую заботу. Джозеф, который научил его ходить.

– Тут так спокойно, – сказал Астер Джозефу однажды вечером, когда они сидели на балках и смотрели на расстилавшуюся перед ними водную гладь и землю.

Джозеф посмотрел вверх, в небо, потом вниз, на землю.

– Да, но тут всегда очень ветрено, а ты не птица, – ответил он. – Ты – отец.

В тот момент его сердце потянулось к дому, он, вздрогнув, вспомнил, что у него есть дочь, и спустился вниз, благодарный за очередной трудовой день и за то, что именно его трудами удастся сдержать воду, которая может погубить их всех. Лишь ступив на землю, он снова ощутил страх, поднявшийся вверх по ногам и бедрам и поселившийся в груди. *Продолжай кормить ее, продолжай расчесывать ей волосы и рассказывать о мире, каким он был когда-то. Продолжай ее прятать. Не дай ей умереть.*

---

Солнце почти опустилось за горизонт. Вода переливалась голубыми и оранжевыми сполохами. Дома и полузатонувшие мосты, днем покрытые пестрым рисунком солнечных бликов, поросшие растительностью и заселенные краснохвостыми ястребами и орлиными гнездами, утонули в сумраке.

Астер спустился с морской дамбы на землю. Открепил страховочный трос и поднял воротник пальто до ушей. На миг у него мелькнуло подозрение, что морскую дамбу, возможно, строили не для того, чтобы не допустить наводнения, а для того, чтобы люди не могли выбраться из города и оказались бы запертыми в нем, как в ловушке. Он повернулся и пошел домой кружным путем. Порылся в кармане и достал свернутый листок бумаги. Это была карта, которую нарисовала дочь; подписанная ее рукой, с ее рисунками и странными черточками, испещрявшими улицы Брука. Незнакомые слоги, названия предметов, латинские термины и категории животных – *что все это значило? Где моя девочка?* Карта вела в никуда.

Потом он заплакал.

Я не понимаю свою дочь и умру, если не смогу оградить ее от беды.



Однажды Астер встретил врача, поселившегося на заброшенном складе в нескольких кварталах от их дома. Шел после работы и увидел, как тот грелся у костра, разведенного в железной бочке. Врач сказал, что у него был брат, которого забрали во время облавы; врачом он стал много лет назад, пытаясь помочь брату – у того была опухоль мозга, влиявшая на речь и поведение. Вспоминая потерянного брата, он плакал.

Как-то вечером, в минуту отчаяния, когда Лайсве поздно вернулась домой и принесла нож, Астер снова отыскал того врача и попросил осмотреть дочь. Врач пришел и сел напротив нее на кухне.

– Куда ты ходишь, пока Астер на работе? – спросил он.

– Никуда. Я просто выдумываю истории, а потом рассказываю ему. У меня богатое воображение.

– Но откуда у тебя все эти вещи?

– Да они здесь валяются, в этом здании. Они принадлежали когда-то жившим здесь людям, и те их просто бросили.

– Ты слышишь голоса?

– Нет.

– А видишь что-то странное?

– Что именно?

– Что-то, похожее на сон, а не на обычную жизнь. Чего не бывает в реальности. Странное.

– Нет. Разве наша реальность не достаточно странная.

– Скучаешь по маме и брату?

Последовало долгое молчание. Астер смотрел на дочь; та опустила голову и взглянула на свои руки, несомненно, взвешивая в ладонях что-то невидимое – любовь.

– Нет. У меня есть Астер.

Обычная девочка, подытожил врач. Травмирована, как все мы, это да; пытается жить дальше, как умеет.

Направляясь к дому, Астер сложил карту и убрал ее в карман. Потер замерзшие ладони.

У самого их дома, ветхого, разваливающегося на глазах, он оперся о дерево. *Эта кора старше меня, подумал он; возможно, это дерево помнит то, что поможет мне преодолеть страх. Помнит прежний мир, предшествовавший этому миру.*

Он и сам помнил кое-что, кое в чем был уверен: когда-то у него была жена. Был сын. Они приплыли сюда по воде. *Теперь остались лишь вода и дочь.*

Он поднялся по лестнице – он даже дышал как человек, готовый опустить руки, – и открыл дверь в их квартиру. Там вместо отчаяния увидел дочь; та сидела за кухонным столом с карандашами и рисовала кита. Кита с голубым глазом. Ее волосы были мокрыми.

– Лайсве, почему у тебя мокрые волосы? – сумел выдать из себя Астер, хотя язык еле ворочался. Он снял пальто и повесил его у двери.

– Я вспотела, – ответила она.

– То есть промокла, – сказал он.

Но он уже знал, что сердиться на Лайсве бессмысленно. После его вспышек она лишь замыкалась в себе на несколько дней, и каждый раз ему приходилось рассказывать обо всем сначала, объясняя, почему она должна быть осторожной, сидеть в четырех стенах и не искать приключений на свою голову.

– Расскажи мне опять ту историю, – просила его дочь, его любовь, его жизнь.

С приходом поздней осени в квартире стало зябко. Дочь уже поставила тушиться овощное рагу – картошка, морковь, лук и вода, да горсть дикорастущих трав, которые она находила в трещинах в асфальте. Он подошел к плите, помешал рагу деревянной ложкой. Оглянулся через плечо. Лайсве вертела в руке что-то маленькое; крошечный секрет. Тогда он понял: она снова уходила, хотя он ей запретил, вернулась и принесла с собой маленький предмет. Такой была его дочь: вместо матери ужин ей готовил отец, пытаясь унять свой страх и гнев; сама она хранила секреты, рисковала и вместо семьи, дома и города жаждала историй.

– Что там у тебя? – спросил он.

– История, – напомнила она и спрятала сокровище под стол. – Расскажи.

– Когда ты была маленькой, ты упала с палубы корабля и превратилась в кита, – ответил он.

На губах Лайсве мелькнула полуулыбка. Она закатила глаза.

– Папа, я не кит.

*Но ты упала с палубы корабля и чуть не утонула. И так было не раз.*

– Астер, на что это похоже?

– Что?

– Твои припадки. На что они похожи?

Боль пронзила его от лба до центра грудной клетки. *Так не должно быть, подумал он. Она не должна жить в таком мире. Я его ненавижу.*

– Как будто я лежу на дне океана и не могу подняться, – ответил он. – Вокруг холодно, черным-черно, и я совсем один. Но воображение продолжает рисовать картины.

– Как во сне?

– Вроде того. А потом дно океана становится китом, и кит уносит меня туда... – Он замолчал.

– К Сваёне. На дно океана, туда, где мама.

– Да. – Он посмотрел на стену. – Но ты правда однажды упала с палубы и превратилась в русалку. Иначе откуда у тебя такой хвост?

Девочка рассмеялась, как смеются дочери, растущие в уюте и тепле. А ведь между «упала» и «спрыгнула» большая разница. В голове пронеслись слова «сын», «мать», «дочь», и он так сильно стиснул зубы, что запульсировало в висках. *Куда она ходила в этот раз? Украла ли что-нибудь?* Он вспомнил коллекцию предметов в ее комнате. Монеты. Перышки. Кости. Камушки и ракушки. Шкурка маисового полоза. Мертвые жуки. Книги, повсюду книги и списки на несколько страниц. *Видел ли ее кто-нибудь? Шел следом?* Он досчитал до четырех на вдох, задержал дыхание, выдохнул на четыре счета, чтобы успокоиться.

– Ладно. Теперь рассказывай, как все было на самом деле. С начала.

Иногда отцу остается лишь улыбнуться и поведать дочери историю, которую та хочет услышать. Возможно, детям легче смириться со случившимся, если представить все как сказку.

Стены кухни давили на него, трещины в краске и пятна царапали тело, как старая кожа. Он явственно ощутил тесноту и холод квартиры, ее заплесневелый запах. Бросил взгляд на картонки и серебристый скотч, которыми они закрывали трещины в стенах и окнах. Прогнал ощущение, что эта квартира – заплесневелый и зловонный саван, в который их завернули перед смертью.

– Однажды звездочка на небе влюбилась в веретенщицу, – начал он.

Лайсве довольно улыбнулась. Она продолжала вертеть в руке предмет, спрятав его под столом.

– Они жили на разных берегах, в краю, прежде соединенном перешейком. По этому перешейку некогда путешествовали их предки, – ответила она.

– Кто рассказывает сказку? – с улыбкой спросил он.

– Ты, – ответила Лайсве.

Он продолжил.

– Это было давным-давно, в краю под названием Сибирь. Но прежде эта земля называлась иначе.

– А где находится Сибирь? И как она называлась раньше?

Он подошел к крошечному окну на кухне. Трещины в стеклах и щели в рамах были заклеены скотчем. На стене висела старая американская карта конца прошлого века. Он и раньше подходил к этой стене, он и раньше рассказывал дочери эту историю – много раз, а сколько – уже не помнил.

– Сибирь находилась в стране, которая раньше называлась Россией, а до этого – Советским Союзом. Вот она. – Он указал на огромную территорию, которая когда-то – до того, как растаяли льды и исчезли границы между государствами, – была Сибирью. Обвел ее границы указательным пальцем. Затем поднес его к свету и внимательно посмотрел на свою кожу. На пальце был порез, который так и не зажил толком, так и не затянулся, как шрамы на земле и в сердцах людей.

– А какие они были? Страны? В Советском Союзе было плохо жить? А в Сибири? А в Америке?

– Не знаю. Может, плохо, а может, и хорошо. Все зависит от того, кто рассказывает историю. Времена меняются.

– Ее рассказываешь ты.

– Государства были как звери, вечно охотящиеся друг на друга. Иногда одна страна становилась добычей для хищника, иногда другая; иногда обе, но ни одна об этом не подозревала. Государства возникали в результате войн и захвата власти. А Сибирь... Сибирь была энигмой...

– Что такое *энигма*?

– Кто рассказывает историю? – Он начал с начала. *Как же сильно я люблю эту девочку. Иногда мне кажется, что в ней вся любовь, которая у меня осталась. Я ношу в своем сердце столько любви, что оно может разорваться.* Именно это случается, когда любовь отчаянна, когда к ней примешивается животный страх.

– Сибирь была огромной; больше, чем просто *место*. Непознанный край. Вот что значит *энигма*. Люди жили там и умирали, а как – никто не знал. Их посылали туда, и они просто исчезали. Или образовывали странные колонии посреди пустоты. Край был покрыт льдом, но однажды лед начал таять, и то, что прежде было скрыто, стало явным. Люди узнали, что в этом загадочном краю есть жизнь после смерти.

Астер замолчал и задумался о том, что само их существование – отца, дочери – оставалось для него загадкой. Он помешал рагу. – Первые жители Сибири – самые-самые первые – покинули родные края, перешли перешеек, в ледниковый период называвшийся Берингийским, и дошли до Америки. Это случилось еще до того, как Америку назвали Америкой.

– Они могли приплыть и на лодке.

– Могли, – согласился он.

– Или добраться вплавь... – прошептала Лайсве, уткнувшись в деревянную столешницу, но голос ее прозвучал совсем неслышно.

– Что? – Астер помешивал рагу.

– А это место? Где мы сейчас. Это наш дом?

Снова это слово – дом. У них был дом, а потом утонул; потом все пошло на дно – язык, люди, его мертвая жена и все, что она знала о словах. Его маленький сын, теплый комочек, почти невесомый – он все потерял. Бездна разверзлась в его собственном сердце; оно стало полым, как гигантский пустой железный бак.

Кем стала бы его дочь, если бы ходила в школу, как дети ходили раньше, если бы сидела в классе и учила то, что преподавали в школах этого города – историю, географию, антропологию, происхождение стран и народов? Остались ли где-нибудь школы? Остались ли они там, откуда они уехали? Он мог сколько угодно расчесывать ее черные девичьи волосы, но все равно никогда бы не узнал, каково это – быть отцом двенадцатилетней девочки, чья жизнь из-за него свелась к выживанию.

Кожа вокруг его глаз натянулась. Он заскрежетал зубами, не желая мириться с правдой – с тем, что они вели тайную жизнь и много лет прожили в этом месте нелегально, без нужных документов. Впрочем, так бы они жили в любом другом месте. Границ больше не существовало; государственная система рухнула. Отец и дочь ютились в ветхом многоквартирном здании, добывали еду, одежду, кров трудом и натуральным обменом. Их существование висело на волоске.

Вот он и рассказывал ей эту историю – раз за разом одну и ту же – и этим утешал себя.

– А потом ты упала с палубы и превратилась в кита.

– Па-а-а-ап! – воскликнула Лайсве и улыбнулась. На лежавшем перед ней листке бумаги нарисовала девочку в брюхе кита.

– Что? Просто хотел проверить, слушаешь ли ты. – Не было ничего в мире прекраснее ее улыбки. Как он до сих пор не умер от любви к ней? Страх и гнев заклокотали в груди.

А потом возник другой вопрос: как ее маленькое тельце вмещало столько всего и ничего не чувствовало?

– Твоя мама, Сваёне, изучала языки коренных народов Якутии, когда мы познакомились в Сибири, – сказал Астер. – Когда я увидел ее впервые, у меня случился припадок. – Астер задержал дыхание. Иногда он жалел, что не умер тогда, в тот самый миг, не остался навек внутри той картины: вот он падает на землю; она бежит к нему, садится и кладет его голову к себе на колени. – Она была самым прекрасным созданием, которое я видел в жизни.

– Мама была лингвистом. И филологом.

– Хорошо, хорошо, – согласился Астер. – Я расскажу тебе про маму. Только покажи, что у тебя в руке, и я расскажу.

Он подошел к ней, ласково взял ее руку и достал зажатый в ладони предмет. Его лицо вспыхнуло.

– Лайсве, где ты это взяла? – Он повертел в пальцах крошечный предмет. Старая монетка, ржавая, тусклая. Похожа на цент, но он не помнил центов с таким рисунком. Монеты вышли из употребления уже давно. Он уже забыл, что это такое. Он потер монетку посудным полотенцем над дымящейся кастрюлей с рагу и прочел дату: 1793. Сверху виднелась надпись СВОБОДА. Такие монеты можно увидеть только в музее. Или в ломбарде. Ребра заныли.

– Откуда это у тебя?

Ее глаза расширились, но не от страха.

– Здесь нашла. Рядом.

Астер ничего не смог с собой поделать – тревога затмила логику. Не думая, что творит, он схватил дочь за плечи и встряхнул.

– Лайсве, сколько раз тебе говорить? Воровать плохо! Нельзя воровать! Ты взяла это в лавке на той стороне улицы? – Его голос нарастал и повышался. – Послушай меня – это не шутки. Ты играешь с огнем. Хозяин лавки может нас выдать. Он тебе не друг. Нельзя никому доверять. Никогда! В любой момент тут может быть облава; может, мы уже в их списке. Я даже не знаю, куда нас отправят. У нас нет ни документов, ни дома, мы ни к чему не привязаны... Я же сто раз говорил – нельзя воровать! Никогда больше так не делай. Или я... – Голос его надломился от страха, стал тонким, истеричным, почти как у матери. В голове бушевал знакомый штурм: *видели ли они ее? Дочь, которая, бродит по улицам без присмотра;*

*дочь, чье любопытство не знает управы, как и ее вечно спутанные волосы?*

– Я не в лавке ее нашла! Я ее не крада! – Громко топая ногами, Лайсве подошла к висевшей на стене карте и ткнула пальцем в выцветший голубой участок, где не было суши. – Я здесь ее нашла. В воде.

– В какой еще воде? – спросил Астер дрожащим от тревоги голосом.

– В той, в которой я якобы почти утонула!

Если бы она могла злиться, испытывать нужду или что-нибудь похожее на бурю эмоций, с которыми ее отцу приходилось сражаться ежедневно, чувства сейчас отобразились бы на ее лице. Лайсве бросилась к Астеру, обняла его так крепко, как только умела, уткнулась головой ему в живот. На миг ему показалось, что она пыталась проткнуть его головой, выдолбить в его чреве для себя лоно, но сильный пресс рабочего напрягся, и их тела тесно прижались друг к другу.

И вот, когда ее маленькое напряженное тельце расслабилось, все рухнуло. Астер услышал громкие шаги на лестнице. Сердце в груди превратилось в твердое яблоко. Он так сильно прижал палец к губам, что мог остаться синяк.

– Прячься, – громким шепотом произнес он.

Дочь бросилась на пол, подползла к шкафу под раковиной и быстро, как юркнувший в нору зверек, забралась в тайник за стеной, как он ее учил.

У Астера закружилась голова. Руки онемели. Колени подкосились. Звезды брызнули из глаз. Что было дальше, он уже не помнил: то ли припадок сотряс его тело, то ли люди, пришедшие с облавой, выбили дверь.

## Рассказ девочки из воды

Лайсве ползет быстро, изо всех сил, вгрызается в недра многоквартирного дома, как червь. От звуков за спиной горят пятки. Коленки кричат.

Это не история. Это облава.

Потайной ход за раковиной, куда она залезала уже сотни раз, выложен старыми досками, вставленными между стен. Забравшись на шестнадцать футов в глубину, она натывается на земляные стены. Разворачивается, просовывает ногу в земليстую дыру и ставит ее на перекладину пожарной лестницы. *Не останавливайся. Не вздумай оглянуться и посмотреть назад. Если они здесь, у тебя лишь один выбор – бежать. Если они пришли за нами, придется выбирать между жизнью и смертью. Хорошо, что ты ничего не чувствуешь.* Она опускается в дыру. Спускается вниз перекладина за перекладиной, смотрит на свои руки и прикидывает в уме, сколько этажей миновала и сколько еще осталось до земли. Отец остался наверху знаком вопроса, сгустком, тревожной вибрацией цвета кровавой реки; с каждой перекладиной он отдаляется. *Заберут ли они его? Увижу ли я его снова? Сбросят ли его с крыши, как женищину с медальоном в платье цвета индиго – мертвую женищину, прилетевшую с неба? За ней тоже пришла облава? Вытолкнули ли ее из окна? Умрет ли Астер, или его заберут?* Ее сердце отражается в ее глазах.

Чтобы унять волну страха, Лайсве представляет свою коллекцию монет и начинает перечислять их про себя. Только так можно упорядочить мельтешащие цветные пятна в голове. Она вспоминает, как выглядит ее коллекция. *Монетка со Свободой с распущенными волосами. Монетка со Свободой во фригийском колпаке. Монетка с драпированным бюстом. Монетка со Свободой в классическом стиле. Монетка с венцом. Монетка со Свободой с заплетенными волосами. Монетка с парящим орлом. Монетка с головой индейца. Первая монетка с Линкольном.*

Она видит перед собой блестящую медную ленту; мысли ударяются друг от друга, как стеклянные шарики, разлетаясь ярко-желтыми искрами, и, продолжая спускаться, она начинает говорить вслух. Коллекция монет растворяется перед глазами.

Ее воображение соскальзывает на другие предметы, другие коллекции, которые она не могла не собирать, и, продолжая спускаться вниз, она перечисляет экспонаты своих коллекций: *камни из всех рек и океанов, где я побывала. Монетки. Ложки. Кости животных. Крылья насекомых. Карты. Перья птиц. Звериные и птичьи черепа. Волоски: оленьи, собачьи, козы, коровьи, кошачьи, ослиные, медвежьи, лисьи, бровровые, крысиные, мышинные; волосы из шкуры северного оленя и мох с его рогов, волосы моей матери, отца, нож Джозефа и волосы Авроры.*

В ее горле клокочет что-то, кроме слов. Люди, явившиеся с облавой, могут забрать отца. Могут его убить. Они могут погнаться за ней. *Хорошо, что ты ничего не чувствуешь.*

Сырой запах подземелья ударяет в нос. Она считает перекладины вслух – *двадцать пять, двадцать четыре, двадцать три, двадцать два, двадцать один.* Пурпурный цвет нимбом окутывает голову. Она знает, что земля близко – последняя перекладина пурпурного цвета.

Правая нога касается твердой земли, и поток мыслей, к счастью, замирает. У земляной стены на деревянной перекладине висит рюкзак. Внутри запас воды, еды и адрес убежища. Лайсве роется в рюкзаке, достает шахтерский шлем с налобным фонарем, наколенники, плотные рабочие перчатки. *Ни в коем случае не останавливайся. Не замедляй шаг. Забудь обо всем, что было до этого; твоя жизнь начинается здесь.*

Она ползет по земляному тоннелю. Расстояние между ней и стенами, ней и потолком – всего фут, и она рада, что она еще ребенок, не взрослая. Перед глазами вспыхивает картина: Астер падает на пол, бьется в припадке. Она начинает плакать, но слезы не мешают ей двигаться вперед. Они капают, но дышит она спокойно. Облизывает соленые капли с губ. Они

рассказывали друг другу эту историю сотни раз: *эта история записана у нее на подложке. Беги или тебя поймут, посадят на корабль и отправят Бог знает куда; тогда твоя жизнь будет навсегда разрушена.*

Рюкзак на спине то и дело задевает потолок, и когда это происходит, она видит по бокам серебристо-белые вспышки. Ее колени и ладони скребутся об землю, вспыхивая голубым, пурпурным и желтым; вспышки освещают ей дорогу, насколько хватает глаз. Запах земляного пола и стенок отдается в ушах низкой дрожью, непрерывным басовым гулом. Этот запах красный. Темно-красный, почти черный. Там, где другие дети чувствуют страх, она видит цвет.

Тоннель заворачивает и немного расширяется. Стараясь ползти как можно быстрее, она задевает стенку плечом и головой сбоку у виска. Она знает, что вскоре после этого поворота можно будет встать и побежать, как бегают дети. Она направится в убежище; так они с отцом запланировали.

Вот только в убежище она не собирается. *Прости, отец.* Она побежит к реке. К старому проливу.

Она отчаянно спешит; касается головы и видит красный след на руке, но крови мало; небольшая царапина ее не остановит. Колени болят, основания ладоней болят, болит сердце, но она видит впереди бирюзовый и не замедляет ход; думает обо всех людях, что пришли в мир и покинули его, обо всех путешествиях людей, растений, животных и рек – сквозь историю. Больше всего она думает о реках и морях, о воде и о том, как та умеет принимать форму земли повсюду на планете. Вода забрала ее мать и спрятала от нее брата, и она должна нырнуть под воду, чтобы найти людей и вещи, существующие не сейчас, а в другом времени. Она не сможет спасти отца, но все равно должна идти на его плач, и ей надо бежать к воде, потому что вода вне времени, и все же вода может поглотить их целиком.

Стопы вместе, руки вдоль туловища, прыжок.

Пузырьки.

Потом покой.

Вода – единственное место на планете, где ее тело мгновенно успокаивается.

– Это ты, девочка? – слышит она тонкий дрожащий голосок.

Лайсве оборачивается; вокруг ее головы, как водоросли, колышутся волосы. К ней подплывает коробчатая черепаха. Паника и страх уходят; под водой все обретает мягкие контуры, все намокает.

– Бертран?

– Ты нервничаешь. Что случилось?

Чтобы успокоиться, Лайсве погружается в свои подводные ощущения.

– Мне нужно оказаться в другом времени.

Черепашка склоняет свою маленькую головку.

– Расскажи мне историю, а я расскажу, как попасть в другое время.

– Я немного знаю о том, как плавать в водах времени, но это срочно. Мне нужно произвести важный обмен. Я могу рассказать одну историю, но больше не проси.

– Идет.

– Одна девочка жила в брюхе у кита... Бертран прерывает ее.

– Эта девочка – ты?

– Кто рассказывает историю? – Лайсве смотрит сквозь воду. Проще думать о себе как о девочке из морской сказки, чем влачить существование в постоянном страхе – жизнь, которую им выбрал отец.

Бертран слегка втягивает голову и перебирает лапками в воде.

– Я слушаю. И что было дальше?

– Девочка любит своего отца. Она любит его очень сильно, но о такой любви, как у нее, никто никогда не рассказывал ни в сказках, ни в жизни. Она любит отца, как любит историю,

животных, растения, окаменелости, потерянные предметы и воду. Она любит отца, потому что понимает, что дочерняя любовь может стать для человека важным смыслом, даже когда остальные смыслы ускользают. Без дочерей жизнь отцов становится бессмысленной. Но дочь не может спасти отца. Все отцы обречены; девочка знает об этом, чувствует это всем телом. Мир – неподходящее для отцов место, поэтому они и кладут свои жизни на алтарь героизма, мужества и войн, стремятся побеждать и обладать. Отчаянное влечение распирает их штаны, и они умирают с жадной внутри, разросшейся шире их собственного тела.

– Боже, какой ужас, – говорит Бертран. – Черепахи совсем другие. В Африке нас считают самыми умными животными. А в Египте черепах причисляли к существам из загробного мира, и это, в общем, логично. Но вся эта концепция зла... какая чушь!

Он закатывает глаза и продолжает:

– В Древней Греции нас изображали на монетах и печатях. А драматург Эсхил, если верить легенде, погиб оттого, что птица уронила черепаху ему на макушку. Вот умора! В Китае мы священные животные и олицетворяем силу, упорство и долголетие. Китайцы верят, что черепаха помогла Пань-гу<sup>3</sup> сотворить мир. На наших панцирях выгравированы старинные китайские легенды. Нас вписали в свои мифы чиппева, меномини, абенаки, гуроны, шауни и хауденосауни<sup>4</sup>. Взгляни на мой панцирь – даже его форма напоминает Землю, накрытую небесным куполом, видишь? – Он слегка выгибает шею и поворачивается к ней спиной. – Спина черепахи почитается и в Индии. В Японии черепаха считается бессмертной. Могавки верили, что землетрясения случаются, когда Вселенская Черепаха потягивается и шевелится под весом неподъемного груза, который несет на своей спине.

Лайсве слушает Бертрана, пока тот не замолкает. Он вытягивает голову из панциря и спрашивает:

– Так что случилось с той девочкой, с дочерью?

– Дочери умеют приносить в мир новые смыслы. Становиться маяками.

И здесь ее история раскрывается полностью:

Одна девочка жила под водой в брюхе кита.

Ее отец – заряженное ружье. Лайсве знает, что это сравнение верно и неверно. Знает, что он не причинил вреда ее матери и брат исчез не по его вине, но также знает, что отец безнадежно и навечно привязан к их смерти. А ведь волею судеб именно их гибель привела ее, Лайсве, в этот мир и подарила ей жизнь.

Последнее воспоминание о матери живет между мирами. Она видит берег, северо-восточный край земли, укрытой снегом, – отец сотни раз показывал ей эту землю на карте на кухонной стене и говорил – «раньше здесь была Сибирь»; видит борт корабля в Беринговом море и тело матери между землей и кораблем. Отец стоит на борту корабля, которому предстоит отвезти его, ее и маленького братика в безопасное место. Мать шагает, будто хочет взойти на корабль, и в следующий миг ее уже нет; в нее стреляют, она падает в воду в грациозной замедленной съемке, и это самая красивая в мире смерть, ни одна другая смерть с ней красотой не сравнится. Длинная изящная рука тянется к ним, белоснежная рука тянется к дочери, к семье, к чему-то, что осталось там, на корабле. Вытянутая рука и кисть вытягиваются к небу и медленно опускаются под воду. Последнее воспоминание – рука и пальцы матери, скрывающиеся под толщей воды.

Тот, кто стрелял в мать, – узнаем ли мы когда-нибудь его имя? – теперь стреляет в людей на борту корабля, и капитан спешит скорее отчалить. Люди ложатся на палубу, вжимаются в нее – хотя это и не корабль вовсе, так, старое рыболовное суденышко, которое теперь перевозит

---

<sup>3</sup> Первопредок в древнекитайской мифологии.

<sup>4</sup> Названия индейских племен.

людей, бегущих от войны, нищеты или наказания, людей, перебегающих с корабля на корабль в необъятном неведомом океане.

Одна девочка жила в брюхе кита, но на самом деле она прижималась к палубе спасительного корабля и смотрела в лицо отца, державшего на руках туго запеленутого младенца – ее маленького братика. Они казались единым организмом, сплоченным общим несчастьем. В тот миг она стала свидетелем того, как тонула любовь и вся жизнь ее отца. На секунду его глаза показались ей глазами мертвого человека; потом звуки выстрелов заставили их вспыхнуть, а когда корабль отчалил, оставляя за собой пенный след, она снова взглянула в них и поняла, что остаток жизни он посвятит тому, чтобы его дети не умерли. Она также поняла, что является частью своей утонувшей матери в гораздо большей степени, чем ее брат.

Тогда ее дочернее тело подскочило и бросилось за борт корабля, *в материнские воды, к материнскому языку и материнскому сердцу.*

Лайсве закончила рассказ:

– Матросы спасательного корабля могли бы бросить девочку в воде, но они этого не сделали. Один из них всю жизнь рыбачил в море; он среагировал мгновенно и поймал ее в невод. Долгую минуту она плыла в ледяных водах, от которых стучали зубы и немел череп, хватала ртом воздух, когда успевала, и ждала, пока руки и ноги утратят чувствительность и застроятся по бокам, став плавниками. Потом ее затащили наверх и завернули в шерстяные одеяла; кто-то кричал на нее, другие растирали ее тело, а отец, державший на руках ее маленького братика, смотрел на нее, как на опасную рыбу, новый вид, для которого еще не было названия, – девочку из воды, которая была его дочерью и никогда больше не будет его дочерью. Эта девочка с готовностью бросилась в материнские воды, чтобы обрести там свой дом. Потом их отвели на корму, где уже столпились другие несчастные люди.

– Одна девочка жила в брюхе кита. Кит был кораблем, несшим ее отца, брата и ее тело; кит вернул ее к жизни и принес к иным берегам, где у нее уже не было матери.

– А, так значит, кит был кораблем, – понял Бертран. – Или кит – это метафора мира? Безопасного места? Кит – это метафора?

– Иногда кит – это просто кит, – ответила Лайсве, теряя терпение.

– Знал я несколько китов, – сказал Бертран и повертел своей маленькой головкой, разминая шею. – Тебе нужно плыть в ту же сторону, что и киты. В сторону океана. Туда. Гудзон впадает в Атлантический океан – так в прошлом называли эту реку и этот океан вы, люди. А мы, звери, никак не называем эти водные пути. Нет такой необходимости. Наш язык не такой неуклюжий, как ваш. Наш язык течет, как вода в океане.

– Спасибо, – шепчет Лайсве под водой. – Прощай, Бертран.

Бертран уплывает.

Лайсве смотрит на его маленький хвостик и лапки, пока те не скрываются из виду. В зубах она сжимает монетку, мокрую от морской воды.

## Мамонты и аксолотли

За неделю до облавы, разлучившей Лайсве и Астера, она искала информацию о двух водных объектах: реке Лене в Сибири и озере Сочимилько близ Мехико.

Лайсве пыталась вспомнить что-то о смерти и жизни, связанное не с человеческой историей, а с историей животных, водой и влечением. Однажды между заросших сорняками рельсов метро она нашла белый медальон в виде розы, вырезанный из кости животного. Вероятно, слоновьей. Она отнесла его в Омбард.

– Это не слоновая кость, – сказал старик-запятая. – Этот бивень намного старше. – Он рассмотрел медальон в лупу. – Он восходит к началу времен.

– Бивень мамонта? – прошептала Лайсве. Она знала, что перед Великим разливом и крушением мира люди стали находить бивни древних мамонтов – те торчали из земли и вечной мерзлоты по берегам Лены. Примерно в то же самое время аксолотли – нежно-розовые амфибии, которых Лайсве любила больше всех живых существ на свете, – начали мигрировать по каналам, берущим начало от озера Сочимилько. Мамонты давно вымерли, аксолотлям едва удалось избежать той же участи; это и пробудило ее любопытство.

Но больше всего ее занимали две другие темы. Первой была подпольная индустрия по торговле бивнями: как только бивни доисторических мамонтов стали находить в большом количестве, на них началась охота. Второй была способность аксолотлей отращивать оторванные конечности.

В Якутии, где люди всю жизнь с трудом перебивались охотой и рыбалкой в близлежащих лесах и реках, целые деревни внезапно разбогатели на «мамонтной лихорадке». Бивни мамонтов – «ледяная кость» – пользовались особым спросом в Китае; китайцы закупали более восьмидесяти тонн «ледяной кости» в год. Столкнувшись с запретом на продажу слоновой кости, китайские резчики наводнили Якутию, охотясь за мамонтовыми бивнями. Для участников новой индустрии «ледяная кость» стала неожиданным источником дохода; для ученых – потенциальной возможностью узнать недостающую информацию о мамонтах и причинах их гибели. Две противоборствующие силы – деньги и знания, деньги и выживание – вызвали смуту в обществе.

Сложно сказать, как повлияла мамонтная лихорадка на нелегальную добычу бивней африканских слонов. Но Лайсве поняла одно: земля подбросила людям мамонтовые бивни как испытание, желая посмотреть, как они поступят. Когда прежде происходило нечто подобное – во времена алмазной или золотой лихорадки – у людей всегда был выбор. У Лайсве сохранилась сенсорное воспоминание из детства, вспышка на сетчатке, ряд крошечных движущихся изображений рядом с изображением матери, которое она носила в телесной памяти, – она уже видела бивни мамонта раньше. Они смотрели на нее из земли и, казалось, что-то говорили, но что именно, она не знала. Бивни тянулись к небу призрачными вопросительными знаками.

Однажды, вспомнила Лайсве, они с матерью встретили старателя, стоявшего по колено в мутной речной воде. Тот пытался выдернуть бивень из ила. У охотника на бивни был большой нож и ружье. Мать несла на спине брата. *Замри как статуя*, велела ей мать. Они спрятались за деревом. Когда Лайсве прислонилась спиной к его коре, дерево с ней заговорило. *Это конец эпохи*, сказал оно. *Животные возвращаются: сначала их ископаемые останки, потом они сами. Перемещается вода.*

Лайсве смотрела на мчавшуюся мимо реку Лену. Та уже смыла не одну деревню и унесла жизни многих людей.

Истории животных, растений и воды заставили Лайсве иначе воспринимать и человеческую историю. Она сказала об этом матери еще в раннем детстве.

– А что для тебя история? – однажды спросила ее мать.

Лайсве ответила перечислением, объединяя предметы в группы по три:

– Взрыв, космос, хаос. Растения, рыбы, животные. Коренные народы, среда обитания, мифы. Мечты, влечение, смерть. Набеги, воровство, колонизация. Деньги, корабли, рабство. Бог, товары и услуги, бойня. Война, власть, геноцид. Цивилизация, прогресс, разрушение. Наука, транспорт, города. Небоскребы, мосты, яд.

– Государства, сила, жестокость. Террор, восстания, тюрьмы. Коллапс, облавы, вода.

– Ясно, – ответила мать. А потом, чтобы успокоить дочь, рассказала историю.

– Знаешь аксолотля, Лайсве? – спросила она. – Его латинское название – *амбистома мексиканум*, а на языке науатль аксолотль означает «ходячая рыбка». Но он не рыбка, а амфибия. С рождения до половозрелости его организм никак не меняется. Поэтому ученые считают аксолотля образцовым организмом. Его тело способно делать то, что человек не может. Отращивать хвост, например. Или лапы. Ткань, из которой состоят его глаза, сердце, мозг. Нервную систему.

Аксолотли умеют дышать четырьмя способами, объяснила мама. Они могут дышать внешними разветвлениями жабр, которые называются фимбриями. А могут через кожу. Еще один дыхательный орган расположен у них во рту, в задней части горла – такой тип дыхания называется буккальным. Наконец, аксолотли умеют дышать легкими – любопытная эволюционная адаптация, ведь у большинства амфибий вместо легких жабры. Аксолотль может подплыть к поверхности воды, проглотить пузырек воздуха, направить его в свои крошечные легкие и некоторое время плыть так.

Под водой память Лайсве всегда обращается к *матери* вне зависимости от ее желания.

## Материнские воды

*Когда в ее памяти всплывает прошлое, она всегда думает о нем в настоящем времени. Как в кино, изображения ускоряются. Вспоминая свое первое погружение под воду и думая о матери, она вызывает к жизни воспоминание, существующее уже вне времени.*

*Когда Лайсве впервые ныряет в воду, она прыгает вслед за матерью. В мать стреляют – быстрая и верная смерть – за один шаг от посадки на корабль, который должен спасти им жизни. Увидев это, Лайсве не думает и не чувствует. Она прыгает.*

*Под толщей голубой воды она чувствует невесомую оболочку своего тела. К ней возвращается прежнее умение дышать в воде, жить в амниотическом море, ее жидкие легкие. Серо-зелено-голубая завеса воды кажется мутной лишь поначалу, потом зрение проясняется, и все становится ясным как день. Лайсве поворачивает голову, вертит руками и телом, кружится, пока ее стопы не касаются дна. Она подносит к лицу ладони и смотрит на них: прозрачные, но настоящие. Лайсве идет-плывет по дну океана, нащупывая дорогу к матери.*

*Вдали возникает темная фигура. Она растет и становится огромной, а когда наконец вырастает перед ней, Лайсве видит, что это кит. Сердце начинает распирает грудь и, кажется, перестает в ней уместиться. За свою короткую жизнь Лайсве успела полюбить китов.*

*– Ты знаешь, где моя мама?*

*Глаз кита округляется.*

*– Да, дитя. Она за твоей спиной. Совсем близко. Она должна отдать тебе кое-что важное. А потом я ее заберу. Ты же мне веришь?*

*Лайсве кивает. В наземном и подводном мире действуют разные логические законы. Лишь дети и животные их понимают. И деревья, но говорить с деревьями может быть опасно.*

*Лайсве медленно оборачивается, мысленно готовясь к встрече. Еще не хватало заплакать, как маленькая. Она знает, что мать застрелили; знает, что они оказались здесь, на дне, не просто так. Когда она наконец видит лицо матери, ее собственное тело распадается на крошечные частички, как все в мире со временем рассыпается на песчинки, лежащие на дне океана. Когда мать обращается к ней, прозрачной девочке из воды, она, Лайсве, становится частичей и волной.*

*– Лайсве, – говорит материнское тело. – Возьми эту вещь. Сожми в ладони и держи крепко. Возьми ее обратно в мир. Когда твое становление завершится, вещь тоже станет чем-то. Храни ее при себе. Ее нельзя ни на что обменять. Она имеет ценность лишь до тех пор, пока находится в твоей ладони.*

*Лайсве берет вещь. Кладет ее в рот; у вещи вкус крови и меди. Тело матери прозрачно, за ним видны плавающие рыбки. Тело улыбается. Улыбка окутывает Лайсве с ног до головы: сперва ее стопы, затем лодыжки и колени, бедра и таз – там улыбка ненадолго задерживается и поднимается выше, к животу, груди, плечам и шее, и наконец становится ее улыбкой. Лайсве снова ощущает себя целой.*

*– Я люблю тебя, – говорит мать, – моя любовь всегда будет жить в твоём теле.*

*Лайсве размышляет, что плакать под водой не имеет смысла. Если заплакать под водой, слезы просто вернутся туда, откуда возникли.*

*– Послушай, моя дорогая, – говорит мать, – ты еще окажешься под водой; сегодня первый раз, но не последний. Ты понимаешь?*

*Лайсве кивает, и на миг кольнувшиеся в воде волосы матери переплетаются с ее телом. Оплетают его, как ростки.*

– Сегодня тебе дали монетку. Монетка поможет переправить отца. Он даже не подозревает, как сильно в ней нуждается. Горе убивает его, а это опасно для окружающих. Есть человек по имени Джозеф; он сможет вам помочь. Вы должны найти Джозефа – он существует в прошлом, но есть и в настоящем. В следующий раз ты подплывешь к женицине – огромной женицине, великанине – и поможешь ей спасти миллионы детей, переправив их к авроре, новой заре.

– А потом, в самом конце, ты отправишься на поиски того, кто был твоим братом. Мальчик, которого ты найдешь, будет гореть в лихорадке, и, возможно, тебе покажется, что он хочет тебя убить, но я обещаю, моя прекрасная водная девочка, мой тюлененок, что он тебя не убьет. Мир встает между мальчиками и их истинным предназначением. Помни: ты никого не сможешь спасти. Ни меня, ни брата, ни отца, ни мир. В твоих силах лишь переправлять предметы, людей и истории из одного времени в другое. Осуществлять перестановки. Восстанавливать смыслы из обломков прежних смыслов.

Лайсве пытается подбежать к матери, но та превращается в воду.

Возвращается кит и ласково выносит Лайсве на поверхность океана. Она слышит громкий звук, похожий на звук разбивающейся о берег волны или корабля, и возвращается на поверхность, к спасательному кораблю и продрогшему рыдающему отцу, плачущему запеленутому братику и матери, навек ушедшей под воду.

После этого она знает, что воды можно не бояться, потому что время скользит и движется вперед и назад, как скользят и движутся предметы и истории. Она обретает новое знание о том, как перемещать предметы. Она постигает смерть и переход в новое качество.

## Первая этнографическая заметка

Всякий раз, когда разговор заходил о золотой лихорадке, моя прабабка плевала на пол. И рассказывала, как Иоганн Август Зуттер – произнося его имя, она плевала на пол дважды, по плевку на каждое «т» в его фамилии, – издевался над женщинами из племени нисенан. Он бежал из родной страны, чтобы избежать тюремного заключения. Бросил пятерых детей. Присвоил себе пятьдесят тысяч акров земли. Заявил, что наши дома – его собственность. Что наши женщины и дети – его собственность. Мы сбивали руки в кровь – строили для него, готовили, убирали и помогали защищать «его» землю, чтобы он нас не убил. Он вмешивался в брачные обычаи нашего племени. Надругался над моей родной сестрой и двоюродной. Он любил ложиться с несколькими женщинами сразу. Меня изнасиловал еще девочкой. И моих друзей – и мальчиков, и девочек. Те, кто не хотели с ним ложиться, становились врагами. Те, кто не хотели с ним работать, становились врагами. Вода в реке Сакраменто окрасилась нашей кровью. Мы ели пшеничные отруби из деревянных корыт. Нам не давали ни тарелок, ни приборов. Сам он ел с фарфора. Мы спали в запертых клетушках без кроватей. Он бил нас, а некоторых забил до смерти. Другими обменивался с местными плантаторами. Обменивал нас, как скот, и торговал нашим трудом. Однажды, когда большинство из нас, живших на ранчо Зуттера – она снова сплюнула дважды, – погибли от эпидемии кори, он построил лесопилку. С лесопилки Зуттера и началась золотая лихорадка. Мы-то, конечно, знали, что в здешних реках и холмах водится золото. Эта земля наполнилась золотом до самых краев. Но мы не знали, что чужаки сделают с этим золотом, с нами и с нашей землей. Жестокость Зуттера ознаменовала собой целую главу в нашей истории и имела далекие последствия, коснувшиеся и наших детей, и наших предков. Закончив рассказ, прабабка смотрела на пол, где блестела ее слюна, словно ждала, что из этой слюны вырастет дерево. Моя прабабка дожила до ста лет, но тело ее было искалечено горем и яростью. В наши дни оставшиеся индейцы нисенан в горах Сьерра-Невада промышляют низкооплачиваемым ручным трудом. В 1950-е мой отец учил нас не высываться. *Никогда не доверяйте правительству*, говорил он. *Люди из правительства приходят и крадут детей. Так было с моим братом. Научитесь быть тише воды, ниже травы, иначе вас убьют.* Отец смастерил мне погремушку, подвесив черепаший панцирь на олений рог; она у меня до сих пор. Мать делала бусы из перламутровых раковин.

Сестра умеет плести непромокаемые корзины из багряника, папоротника и ивы. Но многие мои знакомые уже не умеют говорить на нашем языке... Прабабка сказала, что когда индейцы нисенан говорят на своем языке, поют или танцуют, их понимают деревья, вода и животные. Я по-прежнему знаю некоторые слова и песни. Работаю поваром в забегаловке. Моя дочь стала ученой. Ее взяли на стажировку в Калифорнийский университет в Беркли, в Национальную лабораторию Лоренса Беркли. Она хочет стать астрофизиком. Она объясняет: *пан, золото возникло в результате мощной вспышки, когда столкнулись две нейтронные звезды. Все золото вселенной рождено из этих нейтронных звезд.* Я ее слушаю.

## Яблоко



## Второй перекресток

Что, если труд помогал нашим рукам и ногам осознать, что ценность наша не исчисляется только монетой? Что, если мы и наши тела трудились ради единой цели – построить тело статуи, чтобы та устремилась в небеса и поведала Господу наши тайны?

Я никогда не тосковал по дому. Я тосковал по надежде.

Потому что, видите ли, ее тело под многотонным грузом меди хранило свои тайны. Однажды Джон Джозеф рассказал, что на островах Бедлоу и Эллис были кладбища и захоронения священных артефактов ленапе. Когда-нибудь, сказал он, люди начнут раскопки и обнаружат доисторические предметы, принадлежавшие его предкам, индейцам ленапе – железо, трубки, глиняные горшки и монеты. Ему не нравилось, что мы работали на костях его предков. Иногда в перерывах он просто стоял и смотрел на землю. Нам тоже это не нравилось. У нас – Эндоры, Дэвида и у меня – возникало такое чувство, будто мы оскверняли могилы, но мы трудились, чтобы построить статую на этой земле, и труд нас сплотил. После того, как Джон Джозеф рассказал нам о ленапе, мы иногда останавливались и тихо шептали молитвы, обращенные к земле.

С Джоном Джозефом мы познакомились у стойки гостиницы, когда оба искали жилье. Администратор сказал, что у него есть комната на четверых, комната без прикрас, ночлег для рабочего люда. Я взглянул на волосы Джона Джозефа – они были черные и доходили ему до лопаток. Он взглянул на пятна на моем лице. Этот молчаливый разговор оказался красноречивее слов; мы сняли комнату. Вскоре к нам подселили Эндору и Дэвида.

Много лет спустя нас с Джоном Джозефом наняли для работы над другим проектом – памятником индейцам, который хотели построить на утесе с видом на Нарроуз. Я обрадовался; нам нравилось работать вместе, и я решил, что нашей статуе понравится, что у нее появится друг. Новая статуя должна была изображать индейского воина примерно такого же роста, как женщина, которую мы построили, но все же чуть выше. Замысел был таков, чтобы с борта прибывающих в город океанских лайнеров сперва был виден индеец, а потом уже женщина, которую мы построили. На церемонию закладки памятника явились тридцать два вождя; среди них был и Красный Ястреб, вождь оглала-лакота, и вождь шайеннов Две Луны. Оба сражались с армией США при Литл-Бигхорне и много где еще. Две Луны позировал для пятицентовой монеты.

А потом финансирование отозвали. Из-за споров политиков и богачей проект бросили, как цепь, что теперь лежала у ног статуи. Через год началась мировая война, и о проекте забыли. Даже имена вождей – Сетан Лута, Эсехе Охнесесестсе – стали произносить неправильно, на другом языке.

Так переписывали историю. В моей родной стране историю рабства переписали как историю великих географических открытий. Когда французские колонизаторы прибыли в Сан-Доминго, они выкосили местное население и построили свою историю на его костях.

Однажды я спросил Джона Джозефа, что он думает о «великих географических открытиях».

– Остерегайся мореплавателей, прибывающих в шторм, – ответил он. – У историй, приплывающих по морю, острые зубы. – Я не знал, что он имел в виду, но его слова запали мне в душу.

Бывало, вечером после трудового дня мы вместе выпивали – Джон Джозеф, Дэвид, Эндора и я. Мы говорили о том, как все могло бы сложиться, если бы женщина, которую мы строили, на самом деле символизировала свободу и держала в руке разорванные цепи. Если бы все было, как в жизни, и статуя стояла бы на костях индейца, убитого здесь, но была бы не памятником кровопролитию, а напоминанием о том, что рождение этой страны несло с собой

смерть, и отрицать это было бессмысленно. Что, если статуя стала бы частью этой истории, а индейский воин – ее стражем и спутником, и они вместе смотрели бы на воды пролива? Что, если бы историей Америки стала бы именно эта история, а не та, другая, которую придумали потом?

Когда-то Эндора была монахиней Доминиканского ордена. Мы познакомились на борту «Фризии», когда плыли из Ирландии. Наша встреча была то ли спасением, то ли проклятием; я так и не понял. Я плыл на запад, потому что мне нужна была работа; я надеялся найти работу на сталелитейной фабрике. Там платили больше, чем на бумажных фабриках, тростниковых плантациях или в шахтах.

На пятый день плавания на нижней палубе ко мне привязался пьяница. Я не мог спать, на корабле было слишком тесно, приходилось ютиться среди сотен людей и груза, и я взял в привычку по ночам выходить и стоять у ограждения рядом с лестницей, ведущей в трюм. В ту ночь пьяница вышел на палубу, чтобы опорожнить желудок в море, а увидев меня, достал нож и напал. Он прижал меня к ограждению, размахивал лезвием, голова болталась. Он был очень пьян. Я слышал за спиной шум воды. Стояла глухая ночь, почти утро. В такой темноте можно творить, что угодно; никому нет дела до происходящего. К тому же мы оба были пассажирами, не обладающими никакой ценностью; он с его дырявой курткой и черными зубами, да я. Он, видимо, хотел утвердиться за мой счет. Пьяница резанул ножом мою руку и оттяпал кусочек кожи. *Неужто у нас на борту прокаженный*, сказал он, имея в виду мои пятнистые лицо и шею. *Ты, кажется, превращаешься в морское чудовище, не лучше ли тебе вернуться в океан, где тебе самое место?* Он говорил и другие слова, слова, которыми меня обзывали всю жизнь во всех четырех странах, где я жил. Я не знал, откуда он родом, но его рот был полон желчи, и он полосовал воздух ножом все ближе и ближе к моему лицу. Тогда я понял, что он хочет убить меня или выбросить за борт. Я бросился на него, попытался опрокинуть его на палубу, но он ударил меня по спине, и я потерял равновесие. Истекая слюной, он закричал на меня и занес руку для удара. *Больной ублюдок*, выпалил он, и изо рта его пахло гнилыми яблоками.

Он занес нож над моей головой, и я закрыл глаза. А потом услышал ее голос.

– У этой болезни есть название, – прокричала она. Я открыл глаза и увидел ее – Эндору – за миг до того, как она разбила ему голову пожарным топором. Безжизненное тело пьяницы рухнуло на палубу.

– Она называется витилиго, – сообщила она бездыханному телу у наших ног.

Мы таранились на мертвеца. Вокруг его головы растекалась лужа крови.

– Помоги сбросить эту крысу за борт, – сказала она.

Вокруг не было слышно ни звука, лишь шумели волны. Было очень темно; горели только тусклые навигационные огни и звезды.

Мы сбросили пьяницу за борт; тот приземлился в воду почти бесшумно. Эндора кинула вдогонку топорик. Океан молча сомкнул над ними воды.

– Жаль с ним расставаться, – посоветовала она. – Отец выменял этот топорик в «Дохлам кролике» в Файв-Пойнтс<sup>5</sup> давным-давно. А я с тех пор носила его при себе; мне так было спокойнее. – Она взглянула на ночное небо. На горизонте гремел гром. Пахло небом и морем. А потом вдруг пошел дождь, такой сильный, что нам пришлось укрыться под спасательной шлюпкой.

На ней была серая монашеская мантия и очки. Ей нельзя было дать и шестнадцати лет, но мне запомнилась ее физическая сила – она легко орудовала топором, легко схватила труп мужчины и перекинула его через борт. Порывшись в складках своей мантии, она достала флягу. Мы выпили. Она долго молчала и наконец произнесла:

---

<sup>5</sup> Квартал в Нижнем Манхэттене XIX века, считавшийся самым преступным в истории Нью-Йорка.

– Меня зовут Эндора. – Глотнула из фляги, запрокинув голову, и я увидел крест у нее на шее. Но он был не из золота, а темнел сине-черным на коже – любительская татуировка чуть ниже челюсти. Потом я узнал, что напавший на меня пьяница надругался над ней в начале нашего плавания. Она заметила, что я смотрел на ее шею. Опустила глаза и взглянула на мою шею, где пятна на коже были ярче всего. Так мы и смотрели друг на друга и изучали истории, написанные на нашей коже. Потом она встала, сняла вуаль, чепец и нагрудник, из которых состоял верх ее монашеского одеяния, и швырнула их за борт. Сняла мантию и тоже выбросила ее в море – та взметнулась на ночном ветру, как взмывший над водой дельфин, и упала в пенные волны.

Без мантии Эндора стала неопределенного пола; ее волосы торчали во все стороны. Она их взъерошила. Она была и похожа на мужчину, и не похожа.

– Меня зовут Кем, – сказал я.

Не знаю, был ли в тот момент с нами Бог или нет.

Дэвид Чен стал одним из нас и вписал свое имя в нашу историю, когда железный каркас статуи начал подбираться к небу. Он представлял собой чугунный квадрат в девяносто четыре фута высотой. Дэвид и Джон Джозеф работали рядом – крепили железные заклепки, опоры, арматуру и устанавливали двойную винтовую лестницу, находившуюся внутри статуи. *Она похожа на вертикальную железную дорогу, закрученную в спираль*, сказал Дэвид. *А по мне так на металлическую цинковку*, заметил Джон Джозеф. *А мне кажется, она похожа на корсет*, сказала Эндора. Изнутри становилось понятно, как устроено ее тело – она состояла не из костей, а из паутины балок, опор и железа.

Джон Джозеф заявил, что никогда не видел никого ловчее Дэвида, парящего между балками и арматурой. Тот спускался по веревкам с изяществом танцора, привязывал их, отвязывал и цеплял к новому месту, перемещаясь по телу статуи. Бывало, Дэвид висел на одной руке, обхватив веревку одной ногой; вторая рука просто болталась свободно, голова была запрокинута, и он смотрел на что-то вверху, а может, смотрел в пустоту. Джон Джозеф говорил, что не было на свете никого отважнее его предков-высотников, но мне казалось, что Дэвид, прекрасный в своей отваге, превосходил даже их.

В один особенно знойный день во время перерыва Дэвид снял рубашку и повернулся полюбоваться гаванью. Он-то думал, что никого рядом не было, но мы его видели и заметили на его спине странные отметины, похожие на сотни крошечных белых перышек. Я открыл было рот, хотел спросить, что это, но Эндора бросила на меня красноречивый взгляд, и я промолчал. Потом я спросил ее об этом, и она произнесла одно лишь слово: «Шрамы». Во время войны Эндора была сестрой милосердия и повидала всякое. Ночами мне снились сны о том, как Дэвид мог заполучить эти отметины. Они покрывали всю его спину целиком; словно ударная волна вонзилась в его спину тысячами осколков шрапнели.

Иногда по ночам Дэвид не возвращался в гостиницу. А когда ночевал в нашей комнате, спал плохо. Однажды перед самым рассветом я слышал, как во сне он произнес единственное слово: *аврора*. Мне показалось, что ему снился сон; лицо его было, как у ребенка. Я улыбнулся. Больше всего на свете мне нравилось наблюдать за Дэвидом во сне в любое время дня и ночи.

Дэвид был единственным из нас, кому довелось работать над венцом. В газетах он прочел, что венец создали по образу колпака, который надевали древнеримским рабам после освобождения. Семь лучей символизировали свободу, протянувшуюся через океаны и достигшую всех континентов. Двадцать пять просветов венца отражали свет, как грани бриллианта, создавая иллюзию сияния.

Казалось справедливым, что именно Дэвид трудился над венцом. Что бы ни случилось с ним и его телом, это давало ему право взойти на самый верх.

## Фредерик и яблоко (1870)

По столу разбросаны мои рисунки на кремовом пергаменте; они смотрят на меня – наброски, нарисованные красным карандашом Конте<sup>6</sup>, сперва кажутся царственными и изящными, но потом словно насмеваются надо мной, как бесплотные призраки, обретшие материальную форму лишь для того, чтобы посмеяться над моей неумелостью и снова стать абстракцией. Никак не получается нащупать форму. Тело. Свет в кабинете тусклый и желтый, как моча. Под этим светом я должен нарисовать эскиз скульптуры, подобных которой еще не было. Памятник франко-американскому союзничеству. Отодвигаю неудачные наброски в сторону и вижу последнее письмо Авроры. Закрываю глаза. Вдыхаю его запах. Океанская вода с легкой примесью лаванды. А может, земли.

Иногда мне кажется, что наши отношения с Авророй, моей кузиной, напоминают отношения Франции и Америки. Она всегда вдохновляла меня и бросала мне вызов. Благодаря моей работе нам снова предстоит встретиться, и эта случайная встреча волнует меня и пугает. Я распечатываю ее письма, и меня охватывает желание пересечь океаны – временные и водные – и снова очутиться рядом с ней. Когда я распечатываю ее письма, мне нужно сидеть. Я нюхаю конверты, надеясь уловить хотя бы частичку ее запаха – запаха лаванды и ее кожи. Дрожащими руками я открываю конверт.

*Мой талантливый кузен, мой непристойный гений, мой Адонис Фредерик!*

*Я влюблена в наброски твоего колосса, а наблюдать за работой твоего ума для меня – чистое счастье. Случись тебе однажды перестать мне писать, и я брошусь в реку из этого самого окна и потону, как каменная статуя. Как безгранична твоя фантазия! И сколько идей возникло у меня, когда я увидела твои рисунки! Мое сердце чуть не выскочило из груди от восторга, чуть не треснуло пополам! Наш греховный союз прекрасен, совершенен.*

*А вот что я думаю по поводу трех набросков, которые ты мне прислал:*

*1. Здесь она слишком похожа на египетскую статую. Она будет стоять не над Суэцким каналом, мой птенчик. Я знаю, ты расстроен, что упустил этот проект<sup>7</sup>, но все же.*

*И статуя – не маяк, по крайней мере в традиционном смысле. Ты слишком увлекся экзотикой. Или все еще тоскуешь о путешествии в Египет со своим соблазнительным другом-художником Жан-Леоном Жеромом.*

*2. Что держит в руке этот прекрасный андрогин? Разорванную цепь? Боюсь, что несчастные и недалекие богобоязненные граждане, которым по-прежнему не дает покоя их поражение в Гражданской войне, сочтут это святотатством. Станут протестовать, бунтовать, попытаются снести статую. Эта нация, этот крикливый сучащий ножками младенец никогда не смирится с тем, что ее лишили возможности поработать и убивать других*

<sup>6</sup> Художественный карандаш из искусственного графита.

<sup>7</sup> В 1860-х Бартольди предлагал установить на входе в Суэцкий канал статую, аналогичную Статуе Свободы («Египет, несущий свет в Азию»), но встретил отказ тогдашнего правителя Египта Исмаил-Паши.

людей, как будто те и не люди вовсе, а неодушевленные предметы. На этом они построили свое государство. И за это будут сражаться. Но лично я в восторге от этих разорванных оков, которыми статуя потрясает у всех перед носом!

3. Здесь мне не хватает ее груди. Куда они делись? Хотя мне нравятся мужские черты ее лица. Пожалуй, это мой любимый эскиз.

Теперь давай обсудим книгу, о которой я тебе рассказывала, – ты должен ее прочитать. Да, мне понятны твои возражения; да, автор написала ее, когда ей не исполнилось и двадцати; да, для меня это не имеет значения. Поверь, современный Прометей не заслуживает столь пренебрежительного отношения. И ты не знаешь того, что знают девушки. Я же знаю, как ты, вероятно, помнишь. Помнишь яблоко? Твое пробуждение? Когда мы были маленькими?

Как точно она все подмечает, эта «девчонка», как ты ее называешь. Ей удалось создать самое совершенное описание мужских амбиций; она описала их так реалистично, что я ахнула, я намокла, меня пленило творение ее ума. Монстр, созданный ею на этих страницах, достоин сострадания. Эта девушка обезумела от любви к мужчине – ведь автор всегда пишет о себе, не так ли? И сотворяет новую историю, пытаясь справиться со своим горем? Умерли ли ее собственные дети при рождении? Или еще в утробе? Потеря ребенка – горе, которое женщине никогда не пережить. Дыра в женском сердце тоже своего рода памятник.

Я вот что предлагаю – нужно украсть из всех церквей все Библии и сборники псалмов, как мы делали, когда нам было одиннадцать, помнишь? И отдать дань почтения ей, сотворившей монстра, заменив эти книги ее произведениями. Мы совершим революцию.

Поселим Франкенштейна на всех церковных скамьях.

Помни, я в восемнадцать лет ушла на войну. И потеряла ногу прежде, чем мне исполнилось двадцать. Вот такая я «женщина». Подумай об этом, любимый.

Шлю тебе бесконечные волны любви,  
Аврора

Аврора, моя ослепительная заря!

Принимаю вызов. Мой Дарвин в обмен на твою Шелли. Как тронули меня твои слова! Впрочем, как и всегда. А благодарность за твою оценку моих рисунков не выразить словами.

Меня терзает вопрос, который тебе, должно быть, уже наскучил: как изобразить абстрактную идею? Можно ли оживить идеал?

Меня ужасает мишура в скульптуре. Это искусство должно отличаться широкими, масштабными и простыми формами и воздействием. «Добродетель», «мужество» и «знание» невозможно воплотить в камне и металле не иносказательно. Не говоря уж о «свободе». У абстрактных идей по природе нет формы, очертаний и текстуры. Ум отправляется туда, где нет времени и пространства, и пребывает в месте, не существующем в реальности. Чтобы визуализировать идею, художник должен олицетворить

*ее, свести к узнаваемой для смотрящего форме. Вспомни Пьету, вспомни Венеру Милосскую. Первая воплощает священное материнское горе и любовь; вторая – плотское влечение.*

*Но в этом проекте мое воображение наткнулось на преграду. Статуи вроде Пьеты и Венеры прекрасны, но не подходят для воплощения моей идеи. Однако потом я увидел скульптуру крылатой Ники Самофракийской – и, клянусь, у меня подкосились колени. Я смотрел на нее – а у этой статуи нет головы и рук – и она, казалось, дышала. Как, как, как, недоумевал я, как могла фигура Христа повлечь за собой столько последователей, если в мире существовала такая царственность, такая красота? Вот она, фигура, истинно достойная поклонения. Эта статуя казалась живым олицетворением действия, движения вперед, торжества, воплощенных в мраморе островов Тасос и Парос. В фигуре Ники неистовость движения встречается с глубоким и вечным спокойствием. Говорят, что прежде, чем она лишилась рук, ее правая рука была приставлена ко рту, как рупор, в который она кричала: «Победа!»*

*Потерянные части ее фигуры – части женщины – то и дело возникали у меня перед глазами. Ее голову так и не нашли. Руки затерялись в недрах истории. Потерялась и часть крыла. И хотя я до сих пор думаю о них, мне предстоит воплотить другую идею. Меня наняли не для того, чтобы создать статую Победы.*

*Я должен создать статую Свободы.*

*Будет ли Свобода женщиной, мужчиной, ни тем, ни другим, или и женщиной, и мужчиной в одном лице?*

Мое первое воспоминание о кузине Авроре – сцена из ее комнаты. Мы тогда были детьми; ей исполнилось двенадцать, но для своего возраста она была высокой. Мне было всего десять. Она стояла у невероятно красивых темно-красных бархатных портьер.

Авроре недавно сделали операцию: у нее была частичная расщелина губы. Ее тело всегда реагировало на творившуюся в мире несправедливость; так было с губой, так будет потом с другими его частями. После операции ей нельзя было есть твердую пищу, и ее неделями кормили молочными коктейлями, мороженым и кашей. Я страшно ей завидовал, хотя она делилась со мной всеми своими лакомствами.

В тот день она затащила меня в свою комнату и с совершенно серьезным выражением лица достала из кармана платья яблоко. Я оторопел. Она протянула мне яблоко – ее зашитая губа покраснела и опухла – и произнесла:

– Не шевелись и никому об этом не рассказывай, иначе я забуду о твоём существовании. – Из-за зашитой губы ее слов было почти не разобрать. – Замри как статуя, – велела она. Я замер.

В тот момент я доверял ей, как не доверял никому в своей короткой жизни. Она единственная в целом свете обращала на меня внимание, ей одной не казалось, что я слабак и трачу свое время на всякую ерунду, которая больше никому не интересна.

Она подошла ко мне; нас разделяло только яблоко. Я пристально взглянул в ее глаза. Почувствовал запах ее кожи. От нее пахло лавандовым мылом, девчачьим потом и кровоточащей губой. Яблоком. Я почувствовал запах мальчика, который не знает, что будет дальше; всю оставшуюся жизнь я буду с тоской вспоминать это чувство.

Она вонзилась зубами в яблоко, чтобы держать его в рту без помощи рук. Швы натянулись; губа закровоточила сильнее.

Потом она подождала, пока я сделаю то, что она мне велела. Я дрожал всем телом. Но ради Авроры я был готов на все – тогда и сейчас, и буду готов до конца своей жизни. Я взял

свой глупый маленький кулачок, отвел в сторону свою глупую маленькую руку и выбил яблоко у нее изо рта.

Ее голова откинулась на сторону. Она не издала ни звука.

Повсюду была кровь.

Швы разошлись.

Раненый рот выглядел непристойно.

Она повернулась ко мне. Улыбнулась. Ее красота была чудовищной. Смех, вырвавшийся из ее разорванного рта, пробрал меня до костей.

Я испугался. Но меня необъяснимо к ней тянуло. И я тоже улыбнулся.

Потом она начала снимать с себя окровавленное платье, ничуть меня не стесняясь. Я увидел ее белую нижнюю рубашку, ее фигуру, крошечную капельку крови в ложбинке груди, которые только начали округляться.

Этот образ Авроры на всю оставшуюся жизнь определил мое понимание мира. В тот миг я понял, что буду предан ей вечно.

Тот день в детской комнате определил ход всей моей жизни, а возможно, и ее собственной.

Много лет спустя Аврора лишилась ноги на войне, и я наконец смог доказать ей свою преданность на деле. Мысли о ее потерянной ноге не давали мне покоя. Мне снились кошмары; я видел, как она пытается идти и падает, пытается стоять и падает, пытается хоть как-нибудь пошевелиться и снова падает, как статуя, но ударяется намного сильнее.

И я решил спроектировать и построить для нее новую ногу.

Сперва я изучил историю протезирования. К моему удивлению, оказалось, там было что изучать.

В Древнем Египте считалось очень важным, чтобы человек попал в загробный мир целым. До нас дошли древнеегипетские протезы: так, большой палец ноги Гревилла Честера<sup>8</sup> был изготовлен из льна, клея и гипса.

В Китае пользовались популярностью ножные протезы с лошадиным копытом.

Средние века изобиловали деревянными и железными ногами.

Ацтекский бог творения Тескатлипока лишился стопы, сражаясь с Земным Монстром. Его часто изображают с зеркалом из обсидиана на месте стопы.

Современный ножной протез изобрел Амбруаз Паре во второй половине шестнадцатого века. Паре считают отцом современной хирургии. Он был цирюльником, хирургом и анатомом и служил при дворе четырех французских королей. Он усовершенствовал технологию ампутации конечностей, повысив уровень выживаемости пациентов и разработал функциональные искусственные конечности для всех частей тела. Его шарнирный коленный протез с защелкивающимся механизмом и регулируемым ремнем используется по сей день.

В США спрос на ножные протезы возрос во время и после Гражданской войны. Выздоровившая после ампутации ноги, инженер Джеймс Эдвард Хэнгер – конфедерат и первый ампутант Гражданской войны – разработал и запатентовал искусственную ногу, названную «протезом Хэнгера». Хэнгер и другие первопроходцы протезирования, в том числе Салемская ногопротезная компания из Массачусетса, выпустили на рынок множество товаров и на все лады расхваливали их удобство, прочность, долговечность, комфорт и элегантность. В этих изделиях использовались втулки, листовой металл и сталь, что способствовало повышенной устойчивости, гладкости и бесшумности; протезы часто отделывали кожей, окрашенной под цвет человеческой, и даже снабжали искусственными волосками.

---

<sup>8</sup> Гревилл Джон Честер – британский священник (1830–1892), посвятивший вторую половину жизни исследованиям и археологическим раскопкам в Египте и Леванте, где он собирал артефакты для Британского музея.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.